

Владимир Набоков.

Пнин

Глава первая

1

Пожилой пассажир, сидевший у одного из северных окон неумолимо мчавшего вагона, рядом с пустым сиденьем и лицом к двум другим, тоже пустым, был никто иной, как профессор Тимофей Пнин. Идеально лысый, загорелый и чисто выбритый, он казался, поначалу, довольно внушительным – обширное коричневое чело, очки в черепаховой оправе (скрывающие младенческое отсутствие бровей), обезьянье надгубье, толстая шея и торс силача в тесноватом твидовом пиджаке, – впрочем, осмотр завершался своего рода разочарованием: журавлиными ножками (в эту минуту обтянутыми фланелью и перекрещенными) с хрупкими на вид, почти что женскими ступнями.

Алой шерсти обвислые носки были в сиреневых ромбах; приличные черные полуботинки "оксфорды", обошлись ему почти во столько же, во сколько вся остальная его одежда (включая и бандитский огненный галстук). До начала 40-х годов, в степенную европейскую пору его жизни, он всегда носил длинные кальсоны, окончанья которых заправлялись в опрятные шелковые носки умеренной расцветки и со стрелкой, державшихся на обтянутых бумазеей икрах при помощи подвязок. В те дни обнаружить хотя бы на миг белизну этих исподних, слишком высоко поддернув штанины, представлялось Пнину столь же постыдным, сколь появление перед дамами без воротничка и галстука; ибо даже когда увядшая мадам Ру – консьержка убогого доходного дома в шестнадцатом округе Парижа, где Пнин скоротал пятнадцать лет после бегства из ленинизированной России и завершения университетского образования в Праге, – поднималась к нему за платой, чопорный Пнин, если он еще был без faux col[1], прикрывал горловую запонку целомудренной дланью. Все изменилось в пьянительной атмосфере Нового Света. Ныне, в пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах, носил спортивные рубашки и просторные брюки, укладывая же ногу на ногу, прилежно, намеренно и бесстыдно обнаруживал огромный кусок оголенной голени. Таким мог увидеть его попутчик; впрочем, исключая солдата, спавшего в одном конце вагона, и двух женщин, поглощенных дитятей в другом, весь вагон принадлежал Пнину.

Пора поделиться секретом. Профессор Пнин ошибся поездом. Он об этом не знал, как не знал и кондуктор, уже пролагавший по поезду путь к

вагону Пнина. Собственно говоря, Пнин в эту минуту был весьма собою доволен. Приглашая его прочесть ежепятничную лекцию в Кремоне – это примерно в двухстах верстах к западу от Вайнделла, академического пристанища Пнина с 1945 года, вице-президентша Женского клуба Кремоны мисс Джудит Клайд посоветовала нашему другу ехать наиболее удобным поездом, оставляющим Вайнделл в 1:52 пополудни и приходящим в Кремону в 4:17; однако Пнин, который подобно многим русским испытывал необычайное пристрастие ко всякого рода расписаниям, картам, каталогам, коллекционировал их, – особенно бесплатные – со свежительной радостью человека, получающего нечто ни за что, и который с особенной гордостью сам разбирал расписания, обнаружил, проведя своего рода исследование, не приметную метку подле еще более удобного поезда (отпр. Вайнделл 2:19, приб. Кремона 4:32); метка означала, что по пятницам и только по пятницам поезд "2:19" останавливается в Кремоне на пути в далекий, гораздо больший город, украшенный столь же сочным итальянским именем. К несчастью для Пнина, расписание ему попало пятилетней давности и несколько устаревшее.

Он преподавал русский язык в университете Вайнделла, – довольно провинциальном заведении, отличительными чертами которого были: искусственное озеро посреди кампуса с подправленным ландшафтом, увитые плющом связующие здания галереи, фрески с довольно похожими изображениями преподавателей в миг передачи ими светоча знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера толпе устрашающе сложенных фермерских сыновей и дочурок, и обширное, деятельное, пышно цветущее отделение германистики, которое возглавлявший его доктор Гаген не без самодовольства называл (весьма отчетливо выговаривая каждый слог) "университетом в университете".

В осеннем семестре нынешнего (1950–го) года реестр записавшихся на курс русского языка включал одну студентку промежуточной группы, полную и старательную Бетти Блисс, одного, известного лишь по имени (Иван Дуб – он так и не воплотился), в группе повышенной сложности и трех в процветавшей начальной: Джозефину Малкин, чьи дед и бабка происходили из Минска, Чарльза Макбета, чудовищная память которого уже поглотила десяток языков и готова была похоронить еще десять, и томную Эйлин Лэйн, – этой кто-то внушил, что, овладев русским алфавитом, она сумеет без особых затруднений прочесть "Анну Карамазову" в оригинале. Как преподаватель, Пнин едва ли годился в соперники тем рассеянными по всей ученой Америке поразительным русским дамам, которые, не имея вообще никакого особого образования, ухитряются с помощью интуиции, говорливости и своего рода материнской пылкости чудесным образом сообщать знание своего сложного и прекрасного языка группе невинноочитых студентов, погружая их в атмосферу песен о " Волге-матушке", чая и красной икры; в то же время Пнин-преподаватель даже и не осмеливался хотя бы приблизиться к величественным чертогам современной научной лингвистики, к этому аскетическому братству фонем, к храму, в котором ревностные молодые люди изучают не сам язык, но метод научения других людей способам обучения этому методу, каковой метод, подобно водопаду, плещущему со скалы на скалу, перестает уже быть средой разумного судоходства и, возможно, лишь в некотором баснословном будущем сумеет обратиться в инструмент для разработки

эзотерических наречий – Базового Баскского и ему подобных, – на которых будут разговаривать одни только хитроумные машины. Вне всяких сомнений, подход Пнина к его работе был и любительским, и легковесным, основанным, по существу, на упражнениях из грамматики, изданной главой отделения славистики гораздо большего, чем вайнделлский, университета, – маститым мошенником (русский язык его отдавал анекдотом, но он щедро ссужал свое достославное имя произведениям безымянных поденщиков). Пнин, при множестве недостатков, обладал обезоруживающим старомодным обаянием, которое, как уверял угрюмых попечителей университета стойкий защитник Пнина доктор Гаген, представляло собой изящный импортный товар, достойный оплаты в местной валюте. И хоть степень по социологии и политической экономии, с определенной помпой полученная Пниным в 1925 году в Пражском университете, к середине века уже ничего не значила, роль преподавателя русского языка вовсе не была для него непосильной. Его любили не за какие-то особые дарования, но за незабываемые отступления, когда он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, массируя тем временем линзы настоящего. Ностальгические отступления на ломанном английском. Лакомые крохи автобиографии. О том, как Пнин прибыл в Soedinyon nie Shtati: – Проверка на корабле перед высадкой. Очень хорошо! "Что-то для декларации?" – Ничего. – "Очень хорошо!" – Он спрашивает: "Вы анархист?" – Я отвечаю, – рассказчик берет тайм-аут, чтобы предаться уютному немоу веселью, – во-первых, что мы будем понимать под словом "анархизм"? Анархизм практический, метафизический, теоретический, отвлеченный, мистический, индивидуальный, социальный? "Когда я был молод, – говорю я ему, – все это для меня имело значение." – Мы имели очень интересную дискуссию, вследствие которой я провел на Эллис-Айленд две целых недели, чрево начинает вздыматься; вздымается; рассказчик бьется в конвульсиях.

Впрочем, в рассуждении юмора, случались занятия и похлеще. С застенчиво таинственным выраженьем благодетельный Пнин, припасший для деток дивное лакомство, которое когда-то пробовал сам, и уже обнаруживший в невольной улыбке неполный, но пугающий набор пожелтых зубов, открывал на кожаной изящной закладке, предусмотрительно им туда вложенной, потрепанную русскую книгу. Он открывал ее и немедля, – случалось это так же часто, как и не случалось, – выражение крайнего смятения искажало его живые черты: приоткрыв рот, он принимался лихорадочно перелистывать книгу во всех направлениях; порой проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу, – или убеждался, наконец, что все же верно ее заложил. Выбираемый им отрывок происходил обычно из какой-нибудь старой и простодушной комедии купеческих нравов, на скорую руку состряпанной Островским почти столетие назад, или из столь же почтенного, но еще более одряхлевшего образчика основанной на словоискажениях пустой лесковской веселости. Пнин демонстрировал этот лежалый товар скорее с полновзвучным пылом классической Александринки, нежели с суховатой простотой Московского Художественного; поскольку, однако, для уяснения хоть какой ни на есть забавности, еще сохранившейся в этих отрывках, требовалось не только порядочное владение разговорной речью, но и немалая литературная умудренность, а его бедный маленький класс не отличался ни тем ни другим, исполнитель наслаждался ассоциативными тонкостями текста в одиночку. Воздымание,

отмеченное нами в иной связи, становилось теперь похожим на истинное землетрясение. Нацелив память на дни своей пылкой и восприимчивой юности, – полный свет, все маски разума пляшут в пантомиме, – в бриллиантовый космос, кажущийся еще более свежим оттого, что история прикончила его единым ударом, – Пнин пьянел от собственных вин, предъявляя один за другим образцы того, что, как вежливо полагали слушатели, представляло собой русский юмор. Наконец, веселье становилось для него непосильным, грушевидные слезы катили по загорелым щекам. Не только жуткие зубы его, но и немалая часть розоватой верхней десны выскакивала вдруг, будто черт из табакерки, рука взлетала ко рту, крупные плечи тряслись и перекатывались. И хоть слова, придушенные пляшущей рукой, были теперь вдвойне неразличимы для класса, полная его сдача собственному веселью оказывалась неотразимой. К тому времени, когда сам он становился совсем беспомощным, студенты уже валились на пол от хохота: Чарльз прерывисто лаял, как заводной, ослепительный ток неожиданно прелестного смеха преображал лишенную миловидности Джозефину, а Эйлин, отнюдь ее не лишенная, студенисто тряслась и неприлично хихикала.

Все это, впрочем, не меняет того обстоятельства, что Пнин ошибся поездом.

Как следует нам диагностировать этот прискорбный случай? Пнин, это стоит подчеркнуть особо, вовсе не был типичным образчиком благонамеренной немецкой пошлости прошлого века, *der zerstreute Professor*[2]. Напротив, он был, возможно, чересчур осторожен, слишком усерден в выискивании дьявольских ловушек, слишком бдителен, ибо опасался, что окружающий беспорядок (непредсказуемая Америка!) подтолкнет его к совершению какого-нибудь дурацкого промаха. Это мир, окружавший его, был рассеян, и это его, Пнина, задачей было – привести мир в порядок. Жизнь его проходила в постоянной войне с неодушевленными предметами, которые не желали служить или распадались на части, или нападали на него, или же злонамеренно пропадали, едва попадая в сферу его бытия. Руки у него были в редкой степени бестолковые, но поскольку он мог в мгновение ока соорудить из горохового стручка губную гармонику об одной ноте, заставить плоский голыш десять раз отскочить от глади пруда, при помощи пальцев показать на стене теневого зайца (целиком и даже с мигающим глазом) и исполнить множество иных пустяковых фокусов, имеющих в запасе у всякого русского, он почитал себя знатоком ремесел и мастером на все руки. На разного рода технические приспособления он взирал в суеверном, оцепенелом восторге. Электрические машинки его завораживали. Пластики просто валили с ног. До глубины души обожал он застешки-молнии. И однако, набожно включенный в розетку будильник обращал его утро в бессмыслицу после полночной грозы, оцепенившей местную электростанцию. Оправа очков с треском лопалась прямо по дужке, оставляя в его руках две одинаковых половинки, которые он робко пытался соединить, надеясь, быть может, что некое чудо органической реставрации поможет ему. Застешка-молния – и именно та, от которой джентльмен зависит в наибольшей степени, – слабела в его удивленной ладони в кошмарный миг отчаяния и спешки.

И он все еще не знал, что ошибся поездом.

Зоной особой опасности был для Пнина английский язык. Перебираясь из Франции в Штаты, он вообще не знал английского, не считая всякой малополезной всячины вроде "the rest is silence", "nevermore", "week-end", "who's who"[3], да нескольких незатейливых слов наподобие "eat", "street", "fountain pen", "gangster", "Charleston", "marginal utility"[4]. С усердием приступил он к изучению языка Фенимора Купера, Эдгара По, Эдисона и тридцати одного президента. В 1941 году, на исходе первого года обучения, он продвинулся достаточно для того, чтобы бойко пользоваться оборотами вроде "wishful thinking" и "okey-dokey"[5]. К 1942 году он умел уже прервать свой рассказ фразой "To make a long story short"[6]. Ко времени избрания Трумэна на второй срок Пнин мог управиться с любой темой, однако дальнейшее продвижение застопорилось, несмотря на все его старания, и к 1950 году его английский по-прежнему был полон огрехов. В эту осень он дополнял свой русский курс чтением еженедельных лекций в так называемом симпозиуме ("Бескрылая Европа: обзор современной континентальной культуры"), руководимом доктором Гагеном. Все лекции нашего друга, включая и те, что он от случая к случаю читал в других городах, редактировал один из младших сотрудников отделения германистики. Процедура была довольно сложная. Профессор Пнин добросовестно переводил свой изобилующий присловьями русский речевой поток на лоскутный английский. Молодой Миллер исправлял перевод. Затем секретарша доктора Гагена, мисс Айзенбор, печатала его на машинке. Затем Пнин выкидывал места, которых он не понимал. Затем он зачитывал остаток своей еженедельной аудитории. Без приготовленного загодя текста он был совершенно беспомощен, к тому же он не владел старинным способом сокрытия немощи: двигая глазами вверх-вниз, зачерпнуть пригоршню слов, пересыпать ее в аудиторию и затянуть конец предложения, пока ныряешь за новой. Поэтому он предпочитал читать свои лекции, влипая глазами в текст, – медленным, монотонным баритоном, казалось, карабкавшимся вверх по одной из тех нескончаемых лестниц, которыми пользуются боящиеся лифта люди.

Кондуктору, седовласому, с отеческим выражением человеку в оправленных сталью очках, низковато сидящих на его простом практичном носу, и с кусочком грязного пластыря на большом пальце, оставалось управиться только с тремя вагонами, прежде чем он достигнет последнего, в котором катил Пнин.

А Пнин, между тем, предавался удовлетворению особой, пнинианской потребности. Он пребывал в состоянии пнинианского затруднения. Среди прочих предметов, неотделимых от пнинианского ночлега в чужом городе, – таких как колодки для обуви, яблоки, словари и прочее, – его гладстоновский саквояж содержал относительно новый черный костюм, в котором он собирался читать нынче вечером лекцию дамам Кремоны ("Коммунист ли русский народ?"). В нем находилась и лекция, предназначенная для симпозиума, имеющего состояться в следующий понедельник ("Дон Кихот и Фауст"), – Пнин намеревался изучить ее завтра, на обратном пути в Вайнделл, – и работа аспирантки Бетти Блисс ("Достоевский и гештальт-психология"), каковую он был обязан прочесть за доктора Гагена, основного руководителя умственной деятельности Бетти. Затруднение было вот какое: если держать

кремонский манускрипт – стопку аккуратно сложенных вдвое стандартных машинописных страниц, – при себе, в безопасности телесной теплоты, существуют (теоретически) шансы, что он забудет переместить его из пиджака, надетого на нем сейчас, в тот, который он наденет после. С другой стороны, если сейчас засунуть лекцию в карман костюма, лежащего в саквояже, его замучит, – это он знал отлично, – мысль о возможной поклаже багажа. С третьей стороны (умственные состояния этого рода непрестанно обзаводятся лишними сторонами), во внутреннем кармане теперешнего пиджака лежит драгоценный бумажник с двумя десятидолларовыми купюрами, вырезанным из газеты ("New-York Times") письмом, которое он написал – с моей помощью – в 1945 году по поводу Ялтинской конференции, и свидетельством о натурализации, – и опять-таки существовала физическая возможность вытащить бумажник, если он вдруг понадобится, так, что при этом роковым образом изменится местоположение сложенной лекции. За двадцать минут, проведенных в поезде нашим другом, он успел два раза открыть саквояж, чтобы поиграть с различными бумажками. Когда кондуктор добрался до его вагона, прилежный Пнин с натугой вникал в плод последнего усилия Бетти, начинавшийся словами: "Если мы рассмотрим духовный климат, в котором мы живем, мы не сможем не заметить..."

Вошел кондуктор; он не стал будить солдата; он заверил женщин, что даст им знать о приближении их станции; и вот он уже качал головой над билетом Пнина. Остановку в Кремоне отменили два года назад.

– Важная лекция! – возопил Пнин. – Что делать? Катастрофа!

Седовласый кондуктор присел, степенно и с удобством, на супротивное сиденье и, сохраняя молчание, занялся наведением справок в потрепанной книге, полной вкладышей с загнутыми уголками. Через несколько минут, а именно в 3:08, Пнину нужно будет сойти в Уитчерче, – это позволит ему попасть на четырехчасовой автобус, который около шести высадит его в Кремоне.

– Я думал, я выиграл двенадцать минут, а теперь я теряю почти два целых часа, – горько вымолвил Пнин. После чего, прочистив горло и не внимая утешениям седоголового добряка ("ничего, поспеете!"), он снял очки для чтения, подхватил тяжеленный саквояж и направился в тамбур, дабы там ожидать, пока скользящее мимо замешательство зелени не будет зачеркнуто и замещено определенностью станции, уже возникшей в его сознании.

Уитчерч материализовался по расписанию. Горячее, оцепенелое цементное пространство и солнце, лежащее за геометрическими телами разнообразно и чисто вырезанных теней. Погода здесь стояла для октября невероятно летняя. Настороженный Пнин вошел в подобие

ожидательной залы с ненужной печкой посередине и огляделся. Единственная ниша в стене позволяла увидеть верхнюю половину потного молодого человека, который заполнял какие-то ведомости, разложенные перед ним на широкой деревянной конторке.

– Информацию, пожалуйста, – сказал Пнин. – Где останавливается четырехчасовой автобус в Кремону?

– Прямо через улицу, – не поднимая глаз, отрывисто ответил служитель.

– А где возможно оставить багаж?

– Этот саквояж? Я за ним присмотрю.

И с национальной небрежностью, всегда приводившей Пнина в замешательство, молодой человек затолкал саквояж в угол своего укрытия.

– Квиттэнс? – поинтересовался Пнин, заменяя английский "receipt"[7] англизированной русской "квитанцией".

– А что это?

– Номерок? – попытал счастья Пнин.

– Да на что он вам, – сказал молодой человек и возвратился к своим занятиям.

Пнин оставил станцию, удостоверился в существовании автобусной остановки и вошел в кофейню. Он проглотил сэндвич с ветчиной, спросил другой и его проглотил тоже. Ровно без пяти четыре, уплатив за еду, но не за превосходную зубочистку, тщательно выбранную им из стоявшей у кассы миленькой чашки, изображавшей сосновую шишку, Пнин воротился на станцию за багажом.

Теперь на посту был другой человек. Первого позвали домой, чтобы он срочно отвез жену в родильное заведение. С минуты на минуту вернется.

– Но я должен получить мой чемодан! – вскричал Пнин.

Сменщику было очень жаль, но он ничего не мог поделать.

– Да вот же он! – возопил Пнин, перегибаясь и указывая.

Жест вышел не самый удачный. Еще продолжая указывать, он осознал, что предъявляет права не на тот саквояж. Указательный палец его заколебался. Колебание было фатальным.

– У меня автобус на Кремону! – кричал Пнин.

– В восемь будет другой, – сказал служитель.

Что оставалось делать нашему бедному другу? Ужасное положение! Он глянул через улицу. Автобус только что подкатил. Лекция даст ему пятьдесят добавочных долларов. Его рука вспорхнула к правой стороне груди. Слава Богу, она здесь! Очень хорошо! Он не наденет черного костюма – вот и все! Он прихватит его на обратном пути. В свое время он терял, бросал, вообще лишался куда более ценных вещей. Энергично, почти беззаботно Пнин взобрался в автобус.

На этой новой стадии своего путешествия, он проехал всего лишь несколько городских кварталов, когда разум его посетил ужасное подозрение. С того самого времени, как он расстался с саквояжем, его левый указательный палец попеременно с внутренним краем правого локтя проверял присутствие бесценного груза во внутреннем кармане пиджака. Одним махом он выдрал его оттуда. Это была работа Бетти.

Испустив то, что представлялось ему международным выражением мольбы и испуга, Пнин выкарабкался из кресла. Раскачиваясь, добрался до выхода. Водитель одной рукой хмуро выдоил из машинки пригоршню центов, возместил ему стоимость билета и остановил автобус. Бедный Пнин высадился посреди чужого города.

Не так уж он был и крепок, как позволяла думать его мощно выпяченная грудь, и волна безнадежной усталости, которая внезапно накрыла его тяжеловатый в верхней части корпус, как бы относя его от реальности, была для него ощущением не вполне незнакомым. Он сознавал, что бредет по сырому, зеленому и лиловатому парку строгого, отчасти кладбищенского пошиба, с преобладанием мрачных рододендронов, лоснистых лавров, раскидистых тенистых деревьев и стриженных газонов; и едва свернул он в аллею дубов и каштанов, которая, по кратким словам водителя, вела обратно к вокзалу, как это жутковатое ощущение, этот холодок нереальности полностью им овладел. Было ли тому виной что-то из съеденного? Те пикули с ветчиной? Или то была загадочная болезнь, которой до сей поры не смог обнаружить ни один из его докторов? Мой друг терялся в догадках, теряюсь в них и я.

Не знаю, отмечал ли уже кто-либо, что главная характеристика жизни – это отъединенность? Не облекай нас тонкая пленка плоти, мы бы погибли. Человек существует лишь пока он отделен от своего окружения. Череп – это шлем космического скитальца. Сиди внутри, иначе погибнешь. Смерть – разоблачение, смерть – причащение. Слиться с ландшафтом – дело, может быть, и приятное, однако, тут-то и конец нежному эго. Чувство, которое испытывал бедный Пнин, чем-то весьма походило и на это разоблачение, и на это причащение. Он казался себе пористым, уязвимым. Он потел. Его пронизывал страх. Каменная скамья под лаврами спасла его от падения на дорожку. Был ли этот приступ сердечным припадком? Сомневаюсь. В данном случае я – его доктор, и позвольте мне повторить еще раз: сомневаюсь. Мой пациент принадлежал к тем редким и злополучным людям, что относятся к своему сердцу ("полому, мускулистому органу" – по зловещему определению "Webster's New Collegiate Dictionary"[8], лежавшего в осиротевшем саквояже Пнина) с тошным страхом, с нервическим омерзением, с болезненной ненавистью, словно к могучему, слизистому чудищу, паразиту, к которому противно притронуться и с которого, увы, приходится мириться. Время от времени доктора, озадаченные его шатким и валким

пульсом проводили тщательное обследование, кардиограф выписывал баснословные горные цепи и указывал на дюжину смертельных недугов, исключавших один другого. Он боялся притронуться к собственному запястью. Он никогда не пытался заснуть на левом боку, даже в те гнетущие часы, когда жертва бессонницы томится по третьему боку, испробовав два наличных.

И вот теперь, в уитчерчском парке, Пнин испытывал то, что он уже испытал 10 августа 1942 года и 15 февраля (в свой день рождения) 1937 года, и 18 мая 1929 года, и 4 июля 1920-го, ощущение, что отвратный автомат, обитающий в нем, обзавелся собственным разумом и не просто живет своей животной жизнью, но насылает на него боль и боязнь. Прижимая бедную лысую голову к каменной спинке скамьи, он вспоминал все прежние приступы такой же немощи и отчаяния. Может быть, на этот раз – пневмония? Дня два назад он продрог до костей на одном из тех дружеских американских сквозняков, которыми хозяин дома угощает ветреной ночью своих гостей после второго круга выпивки. Внезапно Пнин почувствовал (уж не умирает ли он?), что соскальзывает в детство. Это чувство обладало резкостью ретроспективных деталей, составляющей, как уверяют, драматическое достояние утопающих, – особенно на прежнем Русском флоте, – феномен удушья, которое бывалый психоаналитик, забыл его имя, объяснял подсознательным возрождением шока крещения, вызывающим как бы взрыв воспоминаний, промежуточных между первым погружением и последним. Все случилось мгновенно, – нет, однако, иного способа описать случившееся, как прибегая к нижеследующему многословию.

Пнин происходил из почтенной, вполне состоятельной петербургской семьи. Отец его, доктор Павел Пнин, глазной специалист с солидной репутацией, имел однажды честь лечить от конъюнктивита Льва Толстого. Мать Тимофея – хрупкая, нервная маленькая женщина с осиной талией и короткой стрижкой – была дочерью знаменитого некогда революционера по фамилии Умов (рифмуется с "zoom off"[9]) и немки из Риги. В полуобмороке он видел приближающиеся глаза матери. Воскресенье, середина зимы. Ему одиннадцать лет. Он готовил уроки на понедельник – к занятиям в Первой гимназии, как вдруг его тело пронизал непонятный озноб. Мать смерила температуру, посмотрела на него с оторопелым недоумением и немедленно послала за ближайшим друга отца, педиатром Белочкиным. То был насупленный человечек с кустистыми бровями, короткой бородкой и коротким же бобриком. Откинув полы сюртука, он опустил на край тимофеевой кровати. Понеслись взапуски докторские пузатые золотые часы и пульс Тимофея (легко победивший). Затем оголили торс Тимофея, и доктор припал к нему ледяным голым ухом и наждачным виском. Подобно плоской ступне некоего одноногого существа, ухо бродило по груди и спине Тимофея, прилипая к тому или этому участку кожи и перетопывая на следующий. Доктор ушел не раньше, чем мать Тимофея и дюжая служанка, державшая английские булавки в зубах, заковали приунывшего маленького пациента в похожий на смиренительную рубашку компресс. Компресс состоял из слоя влажного холста, слоя потолще, образованного гигроскопической ватой, еще одного – плотной фланели и противно липучей клеенки (цвета мочи и горячки), залегавшей между болезненно льнущим к коже холстом и мучительно повизгивающей ватой, окруженной внешним слоем фланели. Будто бедная куколка в коконе, лежал Тимоша под кучей добавочных

одеял, но они ничего не могли поделать с ветвистой стужей, ползшей в обе стороны по ребрам от заиндевелой спины. Веки саднили, не позволяя закрыться глазам. От зрения осталась лишь овальная боль с косыми проколами света; привычные очертания стали питомниками жутких видений. Вблизи кровати стояла четырехстворчатая ширма полированного дерева с выжженными по нему картинками, изображавшими усталую войлоком палой листвы верховую тропу, пруд в кувшинках, согбенного старика на скамье и белку, державшую в передних лапках какой-то красноватый предмет. Тимоша, обстоятельный мальчик, нередко гадал, что бы это такое было (орех? сосновая шишка?), и вот теперь, не имея иного занятия, он решил попробовать разгадать эту сумрачную тайну, но жар гудел в голове, потопляя любое усилие в боязни и боли. Еще пуще угнетало его боренье с обоями. Он всегда без труда обнаруживал, что сочетание трех различных лиловатых соцветий и семи разнообразных дубовых листьев раз за разом с успокоительной точностью повторяется по вертикали; сейчас, однако, его беспокоило то непреклонное обстоятельство, что ему никак не удастся понять, какой же порядок включения и отбора управляет повторением рисунка по горизонтали; существование порядка доказывалось тем, что он ухватывал там и сям – на протяжении стены от кровати до шкапа и от печки до двери – повторное появление того или иного члена последовательности, но стоило ему попытаться уйти вправо или влево от выбранного наугад сочетания трех соцветий с семью листками, как он немедленно запутывался в бессмысленном переплетении дубов и рододендронов. Здравый смысл подсказывал, что если злокозненный художник – губитель рассудка и друг горячки – упрятывал ключ к узору с таким омерзительным тщанием, то ключ этот должен быть так же бесценен, как самая жизнь, и найденный, он возвратит Тимофею Пнину его повседневное здравие и повседневный мир; вот эта-то ясная – увы, слишком ясная – мысль и заставляла его упорствовать в борьбе.

Ощущение, что он запаздывает к какому-то сроку, отвратительно точно назначенному, вроде начала уроков, обеда или времени отхода ко сну, отягощало неловкой поспешностью его затруднительный поиск, понемногу сползавший в бред. Цветы и листья, ничуть не теряя их извращенной запутанности, казалось, одним волнообразным целым отделялись от бледно-синего фона, а фон, в свой черед, утрачивал бумажную плосковатость и раскрывался в глубину до того, что сердце зрителя почти разрывалось, отвечая этому расширению. Он еще мог различить сквозь отделившиеся гирлянды кое-какие частности детской, оказавшиеся поживучей, к примеру, лаковую ширму, блик на стекле, латунные шишечки на спинке кровати, впрочем, они мешали дубовым листьям и пышным цветам даже меньше, чем внутреннее отражение предмета в оконном стекле мешает пейзажу снаружи, видимому сквозь это стекло. И хоть свидетель и жертва этих фантазмов лежал, укутанный, в постели, он же, – в согласии с двойственной природой внешнего мира, – одновременно сидел на скамье в лиловато-зеленом парке. В один ускользающий миг ему показалось, что он, наконец-то, держит искомый ключ в руках, но, налетая издалека, зашелестел ветер, мягкий шум его рос, пока он ерошил рододендроны, – уже отцветшие, ослепшие, – ветер спутал разумный узор, присущий некогда миру вокруг Тимофея Пнина. Что же, он жив – и довольно. Прислон скамейки, к которому он привалился, так же реален, как одежда на нем или бумажник, или дата Великого Московского Пожара – 1812 год.

Дымчатая белка, на удобных калачиках сидевшая перед ним на земле, покусывала косточку персика. Ветер притих и тут же вновь зашебуршился в листве.

Приступ оставил его немного напуганным и ослабелым, но он сказал себе, что, будь это настоящий сердечный припадок, он бы наверняка испытывал куда большие тревогу и озабоченность, и этот окольный резон изгнал испуг окончательно. Четыре часа, двадцать минут. Он высморкался и потащился к станции.

Прежний служитель вернулся. "Вот вам ваш саквояж, – весело сказал он. – Сожалею, что вы пропустили кремонский автобус".

– По крайности, – и сколько достойной иронии постарался вложить наш невезучий друг в это "по крайности", – с вашей женой все в порядке, надеюсь?

– Будет в порядке. Похоже, придется ждать до утра.

– А теперь, – сказал Пнин, – где расположен публичный телефон?

Служитель махнул карандашом вдаль и вбок, насколько достал, не вылезая из логова. Пнин пошел с саквояжем в руке, но был окликнут. Теперь карандаш торчал поперек улицы.

– Слушайте, видите, там двое парней грузят фургон? Они прямо сейчас едут в Кремону. Скажите им, что вы от Боба Горна. Они вас возьмут.

3

Некоторые люди – и я в их числе – не переносят счастливых концов. Нам кажется, что нас надувают. Беда происходит всегда. В деяньях рока нет места браку. Лавина, остановившаяся по пути вниз в нескольких футах над съезжившейся деревушкой, поступает и неестественно, и неэтично. Если бы я читал об этом кротком пожилом господине, а не писал о нем, я предпочел бы, чтобы он, достигнув Кремоны, обнаружил, что лекция назначена не на эту пятницу, а на следующую. В действительности, однако ж, он не только благополучно доехал, но и успел отобедать: фруктовый коктейль на заправку, мятное желе к неопределимой принадлежности мясу, шоколадный сироп и ванильное мороженое. И вскоре за тем, переевший сладкого, облаченный в черный костюм и успевший пожонглировать тройкой рукописей, которые он в итоге все впихнул в пиджак, чтобы среди прочих оказалась и нужная (одолевая тем самым несчастный случай математической необходимостью), Пнин уже сидел на стуле близ кафедры, стоя за которой, Джудит Клайд – блондинка без возраста, в искусственных аквамариновых шелках, с большими плоскими щеками в красивых леденцово-розовых пятнах и с яркими глазами, купавшимися за пенсне без оправы в безумной синеве, представляла докладчика:

– Сегодня, – говорила она, – нашим докладчиком будет... Это, кстати,

уже третья наша пятница: в прошлый раз, как вы помните, мы с наслаждением слушали рассказ профессора Мура о сельском хозяйстве Китая. Сегодня здесь с нами, я горда сообщить вам об этом, уроженец России, а ныне гражданин нашей страны, профессор, – теперь, боюсь, я добралась до самого трудного, – профессор Пан-нин. Надеюсь, я правильно это произнесла. Он, разумеется, вряд ли нуждается в том, чтобы его представляли, и все мы счастливы, что он здесь с нами. У нас впереди долгий вечер, долгий и поучительный, и я уверена, что всем вам захочется задать ему разные вопросы. Кстати, его отец, как мне рассказывали, был домашним доктором Достоевского, кроме того, он много путешествовал по обе стороны железного занавеса. Поэтому я не стану больше отнимать у вас драгоценное время и только добавлю несколько слов о нашей следующей пятничной лекции из этой программы. Я уверена, что все вы с огромной радостью узнаете, что мы припасли для вас чудесный сюрприз. Наш следующий лектор – это выдающийся поэт и прозаик мисс Линда Лейсфильд. Все мы знаем, что она написала стихи, рассказы и прозу. Мисс Лейсфильд родилась в Нью-Йорке. Ее предки с обеих сторон сражались в рядах бойцов Революционной Войны – тоже с обеих сторон. Свое первое стихотворение она сочинила еще студенткой. Многие ее стихи – по крайней мере три из них – опубликованы в антологии "Отклики. Сто лирических стихотворений американских женщин о любви". В 1932 году она получила премию, присуждаемую...

Но Пнин не слушал. Легкая зыбь, отголосок недавнего приступа, приковала его зачарованное внимание. Ее хватило всего на несколько ударов сердца с добавочной систолой здесь и там – последнее, безвредное эхо, – она растворилась в скудной реальности, когда почтенная хозяйка вечера пригласила его за кафедру; но пока видение длилось, каким оно было ясным! В середине первого ряда он увидел одну из своих прибалтийских теток в жемчугах, кружевах и накладных белокурых буклях, надеваемых ею на все выступления знаменитого, хоть и бездарного актера Ходотова, которого она издавна обожала, пока не сошла с ума окончательно. Подле нее сидела и обмахивалась программкой, застенчиво улыбаясь, клоня гладкую темную головку и сияя Пнину нежным карим взором из-под бархатистых бровей, его мертвая возлюбленная. Убитые, забытые, неотмщенные, неподвластные тлению, бессмертные сидели его старинные друзья, расточившись по смутному залу среди людей совсем недавних, вроде мисс Клайд, скромно вернувшейся в первый ряд. Ваня Бедняшкин, расстрелянный красными в Одессе в 1919-м за то, что отец его был либералом, весело помахал бывшему однокашнику рукой из заднего ряда. И усевшиеся понеприметней, доктор Павел Пнин и его взволнованная жена, оба немного размытые, но в целом прекрасно оправившиеся от темного их распада, смотрели на сына с такой же всепоглощающей любовью и гордостью, с какой смотрели в тот вечер 1912 года, когда на школьном празднике в честь столетия победы над Наполеоном он (мальчик в очках, такой одинокий на сцене) читал стихотворение Пушкина.

Недолгое видение исчезло. Старая мисс Херринг, отставной профессор истории, автор книги "Россия пробуждается" (1922), перегнувшись через одного-двух соседей по креслам, похвалила мисс Клайд за ее речь, а из-за спины этой дамы другая мерцающая старушка застлала ей взор парой иссохших, беззвучно хлопающих рук.

Глава вторая

1

Утренний перезвон знаменитых колоколов вайнделлского колледжа был в самом разгаре.

Лоренс Дж. Клементс, ученый, преподающий в Вайнделле, чьим единственным популярным курсом была "Философия жеста", и его жена Джоан (Пенделтон, выпуск 1930-го) недавно расстались с дочерью, лучшей студенткой отца: на предпоследнем курсе Изабель вышла замуж за выпускника Вайнделла, получившего в далеком западном штате место инженера.

Колокола музыкально звенели под серебряным солнцем. Обрамленный просторной оконницей городок Вайнделл – белые тона, черный узор ветвей – выступал (как на детском рисунке – в примитивной, лишенной воздушной глубины перспективе) на сланцево-сером фоне холмов; всюду лежал нарядный иней; сияли лаковые плоскости запаркованных автомобилей; старый, похожий на цилиндрического кабанчика, скотч-терьер миссис Дингуолл отправился в свой обычный обход – вверх по Уоррен-стрит, вниз по Спелман-авеню и обратно; но ни дружеское участие соседей, ни красота ландшафта, ни переливчатый звон не делали это время года приятней: через две недели, с неохотой помедлив, учебный год вступал в свою самую суровую пору – в весенний семестр, и Клементсы чувствовали себя подавленно и одиноко в их милом, продуваемом сквозняками, старом доме, который, казалось, свисал с них ныне, будто дряблая кожа и просторный костюм какого-то дурня, ни с того ни с сего сбросившего треть своего веса. Все-таки Изабель еще так молода и рассеянна, и они ничего по сути не знают о родне ее мужа, они и видели-то лишь свадебный комплект марципановых лиц в снятом для торжества зале с воздушной новобрачной, совсем беспомощной без очков.

Колокола, которыми вдохновенно управлял доктор Роберт Треблер, деятельный сотрудник музыкального отделения, все еще в полную силу звенели в ангельском небе, а над скудным завтраком из лимонов и апельсинов Лоренс, светловолосый, лысоватый, нездорово полный, поносил главу французского отделения, одного из тех, кого Джоан пригласила к ним сегодня на встречу с профессором Энтвислом из Голдвинского университета.

– Чего это ради, – пыхтел он, – тебе приспичило приглашать Блоренджа? Вот уж мумия, зануда, оштукатуренный столп просвещения!

– Мне нравится Энн Блорендж, – сказала Джоан, подчеркивая кивками свои слова и свою привязанность. "Вульгарная старая злыдня!" – воскликнул Лоренс. "Трогательная старая злыдня", – тихо возразила Джоан, и именно в этот миг доктор Треблер звонить перестал, а телефон – начал.

Сказать по правде, искусство введения в повествование телефонного разговора пока еще сильно отстает от умения писателей передать беседу, ведомую из комнаты в комнату или из окошка в окошко над грустной узенькой улочкой древнего города, где так драгоценна вода и ослы так несчастны, где торгуют коврами, и всюду, куда ни глянь, минареты и иностранцы, и дыни, и трепетное утреннее эхо. Когда Джоан проворной машистой поступью достигла настырного аппарата прежде, чем тот умолк, и произнесла "хэлло" (заводя брови и поводя глазами), ей ответила гулкая тишина; все, что она смогла разобрать, – это был звук дыхания, привольный и ровный; немного погодя голос воздыхателя сказал с забавным иностранным акцентом: "Один момент, извините меня", – сказал словно бы между делом, и опять заслышались вдохи и выдохи и, чуть ли не хмыканье с гмыканьем, а может быть и легкие стоны, сопровождаемые похрустываньем – как будто от торопливо листаемых страниц.

– Хэлло! – сказала она.

– Вы, – осторожно предположил голос, – миссис Файр?

– Нет, – сказала Джоан и повесила трубку. – И кроме того, – продолжала она, перемахнув на кухню и обращаясь к мужу, который уже подобрался к бекону, приготовленному ею для себя, – ты же не станешь отрицать, что Джек Кокерелл считает Блоренджа первоклассным администратором.

– Кто звонил?

– Кому-то понадобилась миссис Фьюер или Фейер. Слушай, если ты и дальше будешь пренебрегать всем, что Джордж... (Доктор О. Дж. Хэлм, их домашний врач.)

– Джоан, – сказал Лоренс, который после куска опаловой ветчины стал значительно благодуще, – Джоан, дорогая моя, ты ведь сказала вчера Маргарет Тейер, что хочешь сдать комнату, верно?

– О, Господи, – сказала Джоан, и телефон послушно зазвонил заново.

– По всему судя, – произнес тот же голос, с удобством возобновляя беседу, – я по ошибке использовал имя информатора. Я соединился с миссис Клемент?

– Да, это миссис Клементс, – сказала Джоан.

– Это говорит профессор... – последовал несуразный взрывчик. – Я веду русские классы. Миссис Файр, которая теперь полдня работает в библиотеке...

– Да, миссис Тейер, я знаю. Так вы хотите взглянуть на комнату?

Он хотел. Может ли он осмотреть ее приблизительно в полчаса? Да, она будет дома. И Джоан хлопнула трубкой о рычаг.

– Кто на сей раз? – спросил муж, оглядываясь по пути вверх, в уединение кабинета, и не снимая с перил весноватой пухлой руки.

– Лопнувший пинг-понговый мячик. Русский.

– Профессор Пнин, Господи-Боже! – воскликнул Лоренс. – "Я с ним знаком; то в самом деле перл..." Ну нет, я напроочь отказываюсь пускать этого монстра в свой дом.

И он свирепо полез вверх. Она спросила вослед:

– Лор, ты кончил вчера статью?

– Почти. – Он свернул по изгибу лестницы за угол, Джоан слышала, как ладонь его, скрипя, скользит по перилам и затем ударяет по ним. – Сегодня закончу. Сначала придется подготовиться к экзамену по ЭС, черт бы их побрал.

Что означало "Эволюция смысла" – главный его курс (двенадцать слушателей, увы, далеко не апостолов); курс открывался и должен был завершиться фразой, обреченной в будущем на повсеместное цитирование: "Эволюция смысла является в некотором смысле эволюцией бессмыслицы".

2

Полчаса спустя, Джоан, взглянув поверх помертвевших кактусов в окно стеклянной веранды, увидела мужчину в макинтоше и без шляпы, с головой, похожей на отполированный медный шар, оптимистически жмущего звонок у парадной двери прекрасного кирпичного дома соседей. Сзади него стоял – в позе, исполненной почти такого же простодушия – старый скотч-терьер. Вышла со шваброй миссис Дингуолл, впустила копотливого, важного пса и указала Пнину на дощатую обитель Клементсов.

Тимофей Пнин уселся в гостиной, скрестил "по-американски" ноги и ударился в разного рода ненужные подробности. Curriculum vitae[10] – сжатое до размеров ореха (правда, кокосового). Родился в 1898 году в Петербурге. Родители умерли от тифа в 17-м. В 18 году перебрался в Киев. Провел пять месяцев в Белой Армии, сначала в качестве "полевого телефониста", затем в Управлении военной разведки. В 19-м бежал в Константинополь от вторгшихся в Крым красных. Завершил университетское образование...

– Надо же, и я там была девочкой, в том же самом году, – сказала обрадованная Джоан. – Отец ездил в Турцию по поручению правительства и взял нас с собой. Мы с вами могли встречаться! Я помню, как по–

турецки "вода". И еще там был сад с розами...

– Вода по-турецки "су", – сказал Пнин, языковед поневоле, и продолжил рассказ о своем увлекательном прошлом: Завершил университетское образование в Праге. Был связан с различными научными учреждениями. Затем – "Ну, совсем коротко говоря, с 25-го жил в Париже, покинул Францию в начале Гитлеровской войны. Теперь здесь. Американский гражданин. Преподаю русский и тому подобные вещи в Вандаловском университете. У Гагена, главы кафедры германистики, доступны любые справки. Или в Общежитии холостых преподавателей".

Ему там неудобно?

– Слишком много людей, – сказал Пнин. – Любопытных людей. Тогда как для меня сейчас необходимо абсолютное уединение. Он откашлялся в кулак с неожиданно пещерным звуком (почему-то напомнившим Джоан встреченного ею однажды профессионального донского казака) и взял быка за рога: "Я должен предупредить, – мне вырвут все зубы. Это отвратительная операция".

– Ну что ж, пойдемте вверх, – бодро сказала Джоан.

Пнин разглядывал розовостенную, в белых воланах комнату Изабель. Внезапно пошел снег, хоть небо и отливало чистой платиной. Медленное, мерцающее нисхождение отражалось в безмолвном зеркале. Пнин обстоятельно изучил "Девочку с котенком" Хекера над кроватью и "Козленка, отбившегося от стада" Ханта над книжной полкой. Затем он подержал руку в некотором удалении от окна.

– Температура однородна?

Джоан метнулась к радиатору.

– Жутко горячий, – парировала она.

– Я спрашиваю, нет ли здесь воздушных потоков?

– О да, воздуха у вас будет предостаточно. А вот здесь ванная – маленькая, но только ваша.

– Без douche[11]? – спросил Пнин, глянув вверх. – Возможно, это и лучше. Мой друг, профессор Шато из Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух местах. Теперь я должен подумать. Какую цену вы собирались потребовать? Я это спрашиваю потому, что не дам больше доллара в день, – не включая, конечно, пансиона.

– Годится, – с приятным быстрым смешком сказала Джоан.

Во второй половине того же дня один из студентов Пнина, Чарльз Макбет ("Сумасшедший, сколько можно судить по его опусам", – обыкновенно говаривал Пнин), с готовностью перевез багаж Пнина в патологически лиловом автомобиле, у которого слева не хватало крыла, и после раннего обеда в "Яйцо и Мы" – недавно учрежденном и не весьма процветающем ресторане, куда Пнин заходил из чистого

сострадания к неудачникам, – наш друг приступил к выполнению приятной задачи – к пнинизации своей новой квартиры. Отрочество Изабель то ли ушло отсюда вместе с ней, то ли было изгнано матерью, но следам ее детства почему-то дозволили остаться, и прежде чем найти наиболее удобные местоположения для замысловатой лампы солнечного света, для громадной пишущей машинки с русским алфавитом, помещавшейся в заклеенном скочем разбитом гробу, для пяти пар миловидных, удивительно маленьких башмаков с десятью укоренившимися в них колодками, для хитроумного приспособления, моловшего и варившего кофе, – не совсем такого же хорошего, как то, что взорвалось в прошлом году, – для четы будильников, каждую ночь принимавших участие все в том же забеге, и для семидесяти четырех библиотечных книг – по преимуществу старых русских журналов, солидно переплетенных в БВК, – Пнин деликатно изгнал в стоящее на лестничной площадке кресло с полдюжины одиноких томов, таких как "Птицы в вашем доме", "Счастливые дни в Голландии" и "Мой первый словарь" ("Более 600 иллюстраций, изображающих животных, человеческое тело, фермы, пожары, – подобранных на научной основе"), а также одинокую деревянную бусину с дырочкой посередке.

Джоан, которая слишком часто, быть может, прибегала к слову "трогательный", объявила, что пригласит этого трогательного ученого выпить с гостями, муж же ее сказал в ответ, что он тоже трогательный ученый – и если она действительно исполнит эту угрозу, то он лучше пойдет в кино. Впрочем, когда Джоан поднялась к Пнину, он отклонил ее предложение, бесхитростно сообщив, что решил больше спиртного не употреблять. Три супружеские пары и Энтвисл появились около девяти, а к десяти вечер был в разгаре, и тут Джоан, разговаривая с хорошенькой Гвен Кокерелл, заметила облаченного в зеленый свитер Пнина: он стоял в проеме двери, ведущей к подножию лестницы, и держал на отлете – так, чтобы его было видно, – стаканчик. Джоан устремилась к нему и едва не столкнулась с мужем, рысью припустившим через комнату, чтобы остановить, удушить, уничтожить Джека Кокерелла, заведующего английским отделением, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блорендж своим знаменитым номером, – он был одним из величайших, если не самым великим в кампусе имитатором Пнина. Тем временем его модель говорила Джоан: "В туалете нет чистого стакана и, кроме того, существуют другие неприятности. От пола дует и от стен дует..." Но доктор Гаген, приятный прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно его приветствовал, и в следующую минуту Пнина, заменив ему стакан хайболом, уже представляли профессору Энтвислу.

– Здравствуйте как поживаете хорошо спасибо, – прогремел Энтвисл, прекрасно подделывая русскую речь, – он и впрямь сильно смахивал на благодушного царского полковника в штатском. Как-то ночью, в Париже, – продолжал он, поблескивая глазами, – в кабаре "Уголок", это представление убедило компанию русских кутил, что я их соплеменник и только притворяюсь американцем.

– Годика через два-три, – сказал Пнин, пропустив один автобус и влезая в следующий, – меня тоже будут принимать за американца, – и все расхохотались, кроме профессора Блоренджа.

– Мы вам добудем электрическую печку, – тихо сказала Джоан, предлагая Пнину оливки.

– А что она печет? – подозрительно спросил Пнин.

– Там видно будет. Есть еще жалобы?

– Да – звуковые помехи, – сказал Пнин. – Я слышу каждый, буквально каждый звук снизу. Но сейчас, я полагаю, не место обсуждать этот вопрос.

3

Гости расходились. Пнин с чистым стаканом в руке вскарабкался вверх. Энтвисл и хозяин дома последними вышли на крыльцо. Мокрый снег медленно плыл в черной ночи.

– Какая жалость, – сказал профессор Энтвисл, – что мы никак не соблазним вас перебраться в Голдвин. Там у нас и Шварц, и старый Крейтс, – они из числа величайших ваших почитателей. И озеро у нас настоящее. И чего только нет. Имеется даже свой профессор Пнин.

– Я знаю, знаю, – сказал Клементс, – но все эти предложения, которые я получаю, слишком уж запоздали. Я собираюсь скоро уйти на покой, а до того предпочел бы остаться хотя и в затхлой, но привычной дыре. А как вам понравился, – он понизил голос, – мосье Блорендж?

– Неплохой малый, по-моему. Правда, должен признаться, временами он напоминал мне того, вероятно, легендарного заведующего французским отделением, который считал Шатобриана знаменитым шеф-поваром.

– Поосторожней, – сказал Клементс. – Этот анекдот впервые рассказали о Блорендже. И в нем что ни слово, то правда.

4

Назавтра героический Пнин отправился в город, помахивая тростью на европейский манер (вверх–вниз, вверх–вниз) и присматриваясь к различным предметам, – он силился, в философском усердии, представить, какими увидит их после ожидающего его испытания, – дабы потом, припомнив свои представления, воспринять их сквозь призму ожидания. Двумя часами позже он тащился назад, припадая на трость и ни на что не глядя. Теплый поток боли понемногу смывал лед и одеревенение анестезии в оттаивающем, еще полумертвом, гнусно искалеченном рту. Несколько дней затем он пребывал в трауре по интимной части своего естества. Он с изумлением обнаружил, как

сильно был привязан к своим зубам. Его язык, толстый и гладкий тюлень, привыкший так весело плюхаться и скользить между знакомых скал, проверяя очертания своего потрепанного, но по-прежнему надежно укрепленного царства, бухаться из пещеры в бухту, взбираться на тот выступ, копать в этой выемке, отыскивать пучок сладкой морской травы всегда в одной и той же расселине, ныне не находил ни единой вехи, существовала лишь большая темная рана, *terra incognita*[12] десен, исследовать которую мешали страх и отвращение. И когда ему, наконец, установили протезы, получилось что-то вроде черепа невезучего ископаемого, оснащенного ослабленными челюстями совершенно чужого ему существа.

Лекций у него в это время по плану не было, и экзаменов он тоже не посещал, их принимал за него Миллер. Прошло десять дней, и неожиданно новая игрушка начала доставлять ему радость. Это было откровение, восход солнца, крепкий прикус деловитой, алебастрово-белой, человеческой Америки. Ночами он держал свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, там оно улыбалось само себе, розовое и жемчужное, совершенное, словно некий прелестный представитель глубоководной флоры. Большая работа, посвященная старой России, дивная греза, смесь фольклора, поэзии, социальной истории и *petite histoire*[13], которую он так любовно обдумывал последние десять, примерно, лет, теперь, когда головные боли ушли, а новый амфитеатр из полупрозрачного пластика как бы таил в себе возможности и сцены и исполнения, наконец-то казалась осуществимой. При начале весеннего семестра его класс не мог не заметить перемен: Пнин сидел, кокетливо постукивая резиновым кончиком карандаша по своим ровным, слишком ровным резцам и клыкам, пока кто-нибудь из студентов переводил предложение из "Начального курса русского языка" старого и румяного профессора Оливера Брэдстрита Манна (на самом деле, от начала и до конца написанного двумя тщедушными поденщиками – Джоном и Ольгой Кроткими, ныне уже покойными), что-нибудь вроде "The boy is playing with his nurse and his uncle"[14]. А однажды вечером он подстерег Лоренса Клементса, торопившегося тайком проскочить к себе в кабинет и, издавая бессвязные триумфальные клики, принялся демонстрировать красоту своего приобретения, легкость, с которой оно вынимается и вставляется, а также убеждать удивленного, но отнюдь не враждебного Лоренса завтра же утром первым делом пойти и вырвать все зубы.

– Вы станете исправившимся человеком, совсем как я, – восклицал Пнин.

К чести Лоренса и Джоан нужно сказать, что они довольно быстро оценили уникальные достоинства Пнина, хоть он и походил более на домового, чем на жильца. Он учинил нечто непоправимое со своим новым нагревателем и мрачно заявил, что это пустяки, все равно скоро весна. Он обладал неприятным обыкновением усердно чистить щеткой одежду, стоя на лестничной площадке, щетка клацала по пуговицам, – и так по пяти минут каждый Божий день. Он страстно влюбился в стиральную машину Джоан. И несмотря на запрещение к ней подходить, его снова и снова ловили на нарушение запрета. Позабыв о приличиях и осторожности, он скармливал ей все, что попадалось под руку: свой носовой платок, кухонные полотенца, груды трусов и рубашек, контрабандой притаскиваемых им из своей комнаты, – все это

единственно ради счастья следить сквозь иллюминатор за тем, что походило на бесконечную чехарду заболевших вертячкой дельфинов. Как-то в воскресенье, обнаружив, что он дома один, он не устоял и из чисто научной любознательности скормил могучей машине чету заляпанных глиной и зеленью парусиновых туфель на резиновой подошве; туфли утупали с пугающим аритмическим звуком, точно армия, переходящая мост, и вернулись назад без подошв, и Джоан вышла из расположенной за буфетной маленькой гостиной и печально сказала: "Тимофей, опять?". Но она прощала его и любила сидеть с ним за кухонным столом, оба грызли орехи или пили чай. Дездемона, старая цветная служанка, которая приходила по пятницам убирать в доме, и с которой, было время, сам Господь ежедневно обменивался сплетнями ("Дездемона, – говорил мне Господь, – этот мужчина, Джордж, он нехороший"), углядела как-то Пнина, когда он в одних только шортах, солнечных очках и сверкающем на широкой груди православном кресте нежился в неземном сиреновом свете солнечной лампы, и уверяла с тех пор, что он – святой. Лоренс, поднявшись однажды к себе в кабинет, потаенное и священное логово, хитро устроенное на чердаке, разъярился, обнаружив мягкий свет включенных ламп и толстошею Пнина, укоренившегося на тощих ножках в углу и безмятежно перелистывающего книгу: "Извините меня, я лишь попастись", – сообщил, глянув через приподнятое плечо, кроткий пролаза (чей английский язык обогащался с удивительной быстротой); но как бы там ни было, а вечером того же дня случайная ссылка на малоизвестного автора, мимолетная аллюзия, молчаливо опознанная на заднем плане мысли, – дерзкий парус, мелькнувший на горизонте, – неосознанно привели двух мужчин к тихому духовному согласию; в сущности, оба они чувствовали себя по-настоящему непринужденно лишь в теплом мире подлинной учености. Люди – как числа, есть среди них простые, есть иррациональные, – и Клементс, и Пнин принадлежали ко второму разряду. С тех пор они частенько "умствовали", встречаясь и застревая на пороге, на площадке лестницы, на двух разновысоких ступеньках (обмениваясь высотами и поворачиваясь друг к другу) или прохаживаясь в противоположных направлениях по комнате, которая в эти минуты существовала для них, по выраженью Пнина, лишь в качестве "меблированного пространства" ("espace meuble[15]"). Скоро выяснилось, что Тимофей является истинной энциклопедией русских кивков и ужимок, что он свел их в таблицу и может кое-что добавить к Лоренсовой картотеке, посвященной философской интерпретации жестов – иллюстративных и неиллюстративных, связанных с национальными особенностями и с особенностями окружающей среды. Очень было приятно смотреть, как двое мужчин обсуждают какое-нибудь предание или верование: на Тимофея, словно расцветающего в амфорическом жесте, на Лоренса, отмахивающегося рукой. Лоренс снял даже фильм, посвященный тому, что Тимофей считал существенной частью русского "кистеведения": Пнин в тенниске, с улыбкой Джоконды на устах, демонстрирует жесты, лежащие в основе таких русских глаголов, – подразумевающих движения рук, – как "махнуть", "всплеснуть", "развести": рука роняется, как бы смахивая усталую уступку; две руки театрально распахиваются в изумленном отчаянии; "разъединительный" жест – ладони разъезжаются в знак беспомощной покорности. А в заключение Пнин очень медленно показывал, как в международном жесте "потрясання перстом" полуповорот, легкий, как фехтовальный изгиб запястья, преобразует торжественное русское указание ввысь – "Судия

Небесный все видит!" – в немецкое изображение палки – "Ты свое получишь!". "Впрочем, – добавлял объективный Пнин, – русская метафизическая полиция отлично крушит и физические кости тоже."

Извинившись за свой "небрежный туалет", Пнин показал этот фильм группе студентов, – и Бетти Блосс, аспирантка кафедры сравнительной литературы, где Пнин был ассистентом доктора Гагена, объявила, что Тимофей Павлович выглядит совершенно как Будда из восточного фильма, который она смотрела на Азиатском отделении. Эта Бетти Блосс – полная, материнской складки девушка лет примерно двадцати девяти, являла собой нежное терние в стареющей плоти Пнина. Лет десять назад у нее был любовник – красивый прохвост, который бросил ее ради одной шлюшки; потом у нее приключился затяжной, безнадежно запутанный роман – более чеховский, нежели Достоевский – с калекой, ныне женатой на своей сиделке, дешевой красотке. Бедный Пнин колебался. В принципе, супружество не исключалось. В блеске своих новых зубов он, после одного семинара, когда удалились все остальные, зашел так далеко, что держал, легонько похлопывая, ее полную руку в своей, пока они сидели рядом и обсуждали тургеневское стихотворение в прозе "Как хороши, как свежи были розы". Она еле закончила чтение, вздохи распирала ей грудь, плененная ладонь трепетала. "Тургеневу, – сказал Пнин, полагая ладонь обратно на стол, – приходилось по прихоти некрасивой, но обожаемой им певицы Полин Виардо изображать идиота в шарадах и *tableaux vivants*[16], а мадам Пушкина сказала: "Надоел ты мне со своими стихами, Пушкин", – а уже старая, подумать только! – жена исполина, исполина Толстого гораздо сильнее, чем его, любила красноносого дурака-музыканта!"

Пнин ничего не имел против мисс Блосс. Стараясь представить себе безмятежную старость, он с приемлемой ясностью видел, как она несет ему плед или заправляет самопишущую ручку. Да, конечно, она ему нравилась, – но сердце его принадлежало другой.

Кота, как сказал бы Пнин, в мешке не утаишь. Для того, чтобы объяснить жалкое волнение, охватившее моего бедного друга однажды вечером в середине семестра, – он как раз получил телеграмму и самое малое сорок минут мерил шагами комнату, – необходимо сказать, что Пнин не всегда был одинок. Клементсы в отблесках уютного пламени играли в китайские шашки, когда Пнин, топоча, спустился по лестнице, оскользнулся и чуть не упал к их ногам, подобно жалобщику в некоем древнем городе, полном неправедных судей, но удержал равновесие – затем лишь, чтобы врезаться в кочергу со щипцами.

– Я пришел, – задыхаясь, сказал он, – чтобы проинформировать или, правильнее, спросить вас, могу ли я принять визитера, женщину, – в дневное время, конечно. Это моя бывшая жена, ныне доктор Лиза Винд, может быть, вы про нее слышали в психиатрических кругах?

Встречаются среди наших любимых женщины, чьи глаза – по случайному сочетанию очерка и блеска – воздействуют на нас не сразу, не в минуту робкого восприятия, но, подобно задержанной и накопленной вспышке света, после, когда сама жестокая уже удалилась, а волшебная мука осталась при нас, установив в темноте свои линзы и лампы. Какими бы ни были глаза Лизы Пниной, ныне Винд, они, казалось, обнаруживали их сущность, их чистейшую воду, лишь при воспоминании о них, вот тогда пустое, слепое, влажно-аквамариновое сияние принималось зиять и трепетать, как если бы вам под веки били брызги солнца и моря. На самом деле, глаза у нее были бледно-голубые, прозрачные, с контрастно черными ресницами и ярко-розовой лузгой; глаза чуть оттягивались к вискам, куда от каждого веером расходились кошачьи морщинки. Копна темных каштановых волос над глянцевым лбом, снежно-розовый цвет лица, очень светлая красная губная помада – если не считать некоторой толстоватости щиколоток и запястий, навряд ли имелся какой-либо изъян в ее цветущей, живой, стихийной и не очень ухоженной красоте.

Пнин, о ту пору молодой, подающий надежды ученый, и она, тогда более, чем теперь, походившая на прозрачную русалку, но в сущности, та же самая женщина, познакомились в Париже году в 25-м. Он носил редкую рыжеватую бороду (ныне, если он не побреется, вылезает лишь белая щетина, – бедный Пнин, бедный дикобраз-альбинос), и эта расчесанная на стороны монастырская поросль, венчаемая толстым лоснистым носом и невинными глазами, отлично передавали телесный облик старомодной интеллигентской России. Скромная должность в Аксаковском институте (рю Вер-Вер) вкупе с другой – в русской книжной лавке Савла Багрова (рю Грессе) доставляли ему средства к существованию. Лиза Боголепова, студентка-медичка, едва перевалившая за двадцать и совершенно очаровательная в черном шелковом джемпере и строгого покроя юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой замечательной, устрашающей старой дамой, доктором Розеттой Стоун, одной из наиболее сокрушительных психиатрисс тех дней. А кроме того, Лиза писала стихи – все больше запинаящимся анапестом; Пнин и увидел-то ее впервые на одном из тех литературных вечеров, где молодые эмигрантские поэты, покинувшие Россию в пору их тусклого, неизбалованного созревания, монотонно читали ностальгические элегии, посвященные стране, которая могла бы стать для них чем-то большим, нежели стилизованно грустной игрушкой, безделицей, найденной на чердаке, хрустальным шаром, внутри которого, если его потрясти, начинает падать над крохотной елью и избушкой из папье-маше мягко светящийся снег. Пнин написал к ней потрясающее любовное письмо, – ныне хранимое в частном собрании, – и она прочла его, обливаясь слезами жалости к себе, когда оправлялась после попытки фармацевтического самоубийства, причиной коего был довольно глупый роман с одним литератором, который теперь... А впрочем, неважно. Пятеро аналитиков, все близкие ее друзья, в один голос сказали: "Пнин – и сразу ребенок".

Брак едва ли переменял образ их жизни, – разве что Лиза перебралась в пыльную квартиру Пнина. Он продолжал свои исследования в области славистики, она свои – в сфере психодраматики, и как прежде, несла

лирические яички, откладывая их по всему дому, точно пасхальный кролик; и в этих зеленых и лиловых стихах – о дитяти, которого ей хотелось бы выносить, и о любовниках, которых ей хотелось иметь, и о Петербурге (спасибо Анне Ахматовой) – каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение были уже использованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир и прямой покровитель искусств, выбрал среди парижских русских влиятельного литературного критика Жоржика Уранского и за обедом с шампанским в "Уголке" уговорил милягу посвятить очередную его *feuilleton*[17] в одной из русских газет прославлению лизиной музыки, на чьи каштановые кудри Жоржик невозмутимо водрузил корону Анны Ахматовой, и Лиза разразилась слезами счастья – ни дать ни взять маленькая Мисс Мичиган или Орегонская Королева Роз. Пнин, не ведавший о подоплеке событий, таскал в своей честной записной книжке газетную вырезку с этим бесстыдным враньем и наивно зачитывал оттуда кусочки забавляющимся друзьям, пока вырезка не истерлась и не засалилась окончательно. Не ведал он и о делах посерьезней, он, собственно говоря, как раз подклеивал останки рецензии в альбом тем декабрьским днем 1938 года, когда Лиза позвонила ему из Медона и сообщила, что уезжает в Монпелье с человеком, понимающим ее "органическое эго", – с доктором Эриком Виндом, – и что больше Тимофей никогда ее не увидит. Незнакомая рыжая француженка зашла за Лизиными вещами и сказала: "Ну что, подвальная крыса, больше нет ни одной бедной девушки, чтобы ее *taper dessus*[18]", – а месяц или два погодя, притекло немецкое письмо от доктора Винда с выражениями сочувствия и с извинениями, заверяющее *lieber Herr Pnin*[19], что он, доктор Винд, исполнен желания жениться на женщине, "которая пришла из Вашей жизни в мою". Пнин, разумеется, дал бы ей развод с такой же готовностью, с какой отдал бы и жизнь, обрезав влажные стебли, добавив листов папоротника и все обернув в целлофан, хрустящий, как в пропахшем почвенной сыростью цветочном магазине, когда дождь превращает Светлое Воскресенье в серые и зеленые зеркала; оказалось, однако, что у доктора Винда есть в Южной Америке жена, особа с извращенным умом и поддельным паспортом, и она не желает, чтобы ее беспокоили, покамест некоторые ее планы не приобретут окончательного вида. Той порой Новый Свет поманил Пнина: его близкий друг, профессор Константин Шато предложил из Нью-Йорка какую угодно помощь для совершения миграционного вояжа. Пнин известил о своих планах доктора Винда и послал Лизе последний номер эмигрантского журнала, в котором ее упоминали на 202-й странице. Он уже наполовину прошел безотрадную преисподнюю, выдуманную (к вящей радости Советов) европейскими бюрократами для обладателей этой никчемной бумажки, нансеновского паспорта (своего рода справки об освобождении под честное слово, выдаваемой русским эмигрантам), когда в один сырой апрельский день 1940 года в дверь его сильно позвонили и, тяжело ступая, пыхтя и толкая перед собой комод семимесячной беременности, вошла Лиза и объявила, сорвав шляпу и скинув туфли, что все было ошибкой, и что отныне она снова – законная и верная жена Пнина, готовая следовать за ним повсюду, – если понадобится, то и за океан. Те дни были, вероятно, счастливейшими в жизни Пнина, – постоянный накал тяжкого, болезненного блаженства, – и вызревание виз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прямо через одежду приставившего пустышку стетоскопа к стесненному сердцу Пнина, и участливая русская дама (моя родственница), которая так помогла в

американском консульстве, и путешествие в Бордо, и прекрасный чистый корабль, – все отзывалось сочным привкусом волшебной сказки. Пнин не только готов был усыновить дитя, когда таковое явится на свет, он страстно стремился к этому, и Лиза с удовлетворенным, отчасти коровьим выражением слушала, как он излагает свои педагогические планы, ибо казалось, что он и впрямь слышит первый вопль младенца и первое его слово, долетевшие из близкого будущего. Всегда охочая до засахаренного миндаля, она теперь поглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо), и аскетический Пнин созерцал ее алчность, с завистливой радостью покачивая головой и пожимая плечами, и что-то от шелковистой гладкости этих dragees[20] осталось в его сознании навсегда слитым с памятью о ее тугой коже, о цвете лица и безупречных зубах.

Несколько опечалило то, что едва поднявшись на борт, она бросила один-единственный взгляд на взбухавшее море, сказала: "Ну, это извините", и быстро ретировалась в корабельное чрево, где и пролежала на спине большую часть плавания в каюте, которую она делила с говорливыми женами трех немногословных поляков (борца, садовника, парикмахера), в их-то обществе и путешествовал Пнин. На третий день пути, надолго задержавшись в кают-компании после того, как Лиза отправилась спать, он охотно согласился на партию в шахматы, предложенную бывшим редактором франкфуртской газеты, – печальным патриархом с мешками под глазами, в закрывающем горло свитере и в брюках-гольф. Ни тот, ни другой хорошими игроками не были: оба питали склонность к эффектным, но совершенно бессмысленным жертвам, и каждый слишком стремился выиграть; особенно же разнообразил развитие партии фантастический немецкий язык, на котором изъяснялся Пнин ("Wenn Sie so, dann ich so, und Pferd fliegt"[21]). Затем подошел еще один пассажир и сказал, entschuldigen Sie, нельзя ли ему понаблюдать за игрой? И сел с ними рядом. У него были рыжеватые, коротко стриженные волосы и длинные бледные ресницы, напоминающие лепизму, он носил поношенный двубортный пиджак, и вскоре уже беззвучно квохтал всякий раз, как патриарх после величавого созерцания наклонялся, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов этот участливый наблюдатель и, очевидно, знаток, не устоял и, оттолкнувши пешку, которую только что двинул вперед его соотечественник, дрожащим перстом указал на ладью, которую старый франкфуртец немедленно сунул подмышку защиты Пнина. Наш герой проиграл, разумеется, и намеревался уже покинуть кают-компанию, но знаток перехватил его, сказав entschuldigen Sie[22], нельзя ли ему немного поговорить с Herr Pnin[23]? ("Как видите, я знаю ваше имя", – заметил он в скобках, подняв кверху свой столь употребительный указательный палец) – и предложил выпить в баре по кружке пива. Пнин согласился, и когда перед ними поставили кружки, вежливый незнакомец продолжил так: "В жизни, как и в шахматах, всегда полезно анализировать свои намерения и мотивы. В тот день, когда мы взошли на борт, я походил на расшалившееся дитя. На следующее утро, однако, я начал уже опасаться, что проницательный муж – это не комплимент, но ретроспективная гипотеза, – рано или поздно изучит список пассажиров. Сегодня я предстал перед судом моей совести и был признан виновным. Я более не в силах сносить обмана. Ваше здоровье. Это совсем не похоже на наш немецкий нектар, но все-таки лучше, чем кока-кола. Мое имя – доктор Эрик Винд, увы, оно вам

небезызвестно."

Пнин в молчании, с подергивающимся лицом, оставив одну ладонь лежать на мокрой стойке бара, начал неуклюже сползать с неудобного грибообразного стула, но Винд положил на его рукав пять длинных чувствительных пальцев.

– Lasse mich, lasse mich[24], – постанывал Пнин, пытаясь стряхнуть вялую рабелепную лапу.

– Пожалуйста! – сказал доктор Винд. – Будьте справедливы. Осужденному всегда дают последнее слово, это его право. Даже наци соблюдают его. И прежде всего, – я хочу, чтобы вы позволили мне оплатить по меньшей мере половину проезда дамы.

– Ach nein, nein, nein[25], – сказал Пнин. – Закончим этот кошмарный разговор (diese koschmarische Sprache).

– Как вам угодно, – сказал доктор Винд и принялся внедрять в сознание распятого Пнина следующие пункты: что все это было Лизиной идеей – "упрощает дело, вы понимаете, для блага нашего ребенка" (слово "наш" прозвучало триличностно); что к Лизе следует относиться как к очень больной женщине (беременность, в сущности говоря, есть сублимация стремления к смерти); что он (доктор Винд) женится на ней в Америке, – "куда я также направляюсь", – добавил доктор Винд для ясности; и что ему (доктору Винду) должно позволить уплатить хотя бы за пиво. С этого дня и до конца путешествия, которое из серебряного с зеленым превратилось в однообразно серое, Пнин нарочито занялся английскими учебниками и, хоть и оставался с Лизой неизменно кротким, старался видеть ее настолько редко, насколько это было возможным без того, чтобы у нее зародились подозрения. То тут, то там возникал неизвестно откуда доктор Винд, делая издали знаки одобрения и ободрения. И наконец, когда величавая статуя выросла из утренней дымки, где стояли, готовые воспламениться под солнцем, зачарованные тусклые здания, подобные таинственным разновысоким прямоугольникам, которые видишь на гистограммах, изображающих относительные проценты (природные ресурсы, частоты рождения миражей в различных пустынях), доктор Винд решительно приблизился к Пнину и представился официально, – "поскольку мы, все трое, должны ступить на землю свободы с чистыми сердцами". И после недолгого и довольно комичного совместного проживания на Эллис–Айленд Тимофей и Лиза расстались.

Были кое–какие сложности, но в конце концов Винд на ней женился. В первые пять американских лет Пнин несколько раз мельком виделся с нею в Нью–Йорке; он и Винды натурализовались в один и тот же день; потом, после его переезда в Вайнделл в 1945 году, полдюжины лет прошло без встреч и без писем. Впрочем, время от времени он получал о ней вести. Недавно (в декабре 1951 года) его друг Шато прислал ему номер психиатрического журнала со статьей доктора Альбины Дункельберг, доктора Эрика Винда и доктора Лайзы Винд "Использование групповой психотерапии при консультировании супругов". Пнина всегда смущали Лизины "психоослиные" интересы и даже теперь, когда ему следовало бы стать безразличным, он ощутил легкий укол отвращения и

жалости. Она и Эрик работали под руководством великого Бернарда Мэйвуда, доброго великана, которого сверхадаптивный Эрик именовал "боссом", в Исследовательском Бюро при Центре Планирования Составы Семьи. Поощряемый покровителем – своим и жены, – Эрик разрабатывал затейливую идею (скорее всего не ему принадлежащую), состоявшую в том, чтобы заманить наиболее дураковатых и податливых клиентов Центра в психотерапевтическую западню – кружок "снятия напряжения", на манер деревенского сообщества для помощи соседям в стежке одеял, где молодые замужние женщины, объединенные в группы по восемь, расслаблялись в удобной комнате, жизнерадостно и бесцеремонно обращаясь друг к дружке по имени, а доктора сидели к группе лицом, и секретарь помаленьку записывал, и травматические эпизоды всплывали, будто трупы, со дна детства каждой из дам. На этих посиделках женщин понукали с полной откровенностью обсуждать меж собой сложности их супружеского несопряжения, за чем, разумеется, следовало сопоставление записей, относящихся к их сожителям, которых также допрашивали в особливых "группах мужей", столь же непринужденных да еще и с раздачей большого числа сигар и анатомических схем. Протоколы и медицинские подробности Пнин пропустил, – нет и нам необходимости входить здесь в эти веселенькие детали. Довольно будет сказать, что уже на третьем собрании женской группы, после того, как та или иная дамочка, побывши дома, узрела свет и вернулась, дабы описать новооткрытые ощущения своим пока еще заблокированным, но восторженно внимающим сестрам, звенящая нота ревивализма приятно окрасила продолжение их трудов ("Ну, девочки, когда Джордж прошлой ночью..."). Но и это не все. Доктор Эрик Винд надеялся разработать методу, которая позволила бы свести всех этих жен и мужей в единую группу. Жутковато, кстати сказать, было слышать, как он и Лиза смакуют словечко "группа". Профессор Шато в длинном письме к расстроенному Пнину уверял, что доктор Винд называет "группой" даже сиамских близнецов. И действительно, прогрессивный идеалистически настроенный Винд мечтал о счастливом мире, составленном из сиамских стоголавов – анатомически сопряженных сообществ, целая нация коих строится вокруг связующей печени. "Вся эта психиатрия – ничто иное как разновидность коммунистического микрокосма, – роптал Пнин в своем ответе Шато. – Неужели нельзя оставить людям их личные печали? Спрашивается, не есть ли печаль то единственное на земле, чем человек действительно обладает?"

6

– Знаешь, – субботним утром сообщила мужу Джоан, – я решила сказать Тимофею, что от двух до пяти дом поступает в их полное распоряжение. Мы просто обязаны предоставить этим трогательным людям все удобства. Мне есть, чем заняться в городе, а тебя я подброшу в библиотеку.

– Видишь ли, – отвечал Лоренс, – как раз сегодня мне совершенно не хочется, чтобы меня подбрасывали и вообще как-нибудь передвигали. Кроме того, весьма маловероятно, что для воссоединения им понадобятся все восемь комнат.

Пнин надел новый коричневый костюм (оплаченный лекцией в Кремоне) и

после торопливого завтрака в "Яйцо и Мы" пошел через кое-где оснеженный парк к вайнделлской автобусной станции – и появился там на час раньше срока. Он не стал гадать, по какой причине Лиза ощутила вдруг настоятельную потребность увидеться с ним на обратном пути из частной школы Св. Варфоломея близ Бостона, куда следующей осенью поступал ее сын: все, что ему было ведомо, – это паводок счастья, пенящийся и растущий за невидимой перемычкой, которую могло теперь прорвать в любую минуту. Он встретил пять автобусов и в каждом ясно видел Лизу, махавшую ему за окном, пока она и прочие пассажиры гуськом продвигались к выходу, но автобусы пустели один за другим, а Лиза не появлялась. Внезапно он услышал за собой ее звучный голос ("Тимофей, здравствуй!") и, круто повернувшись, увидел ее выходящей из того единственного "Грейхаунда", касательно которого он решил, что в нем ее быть не может. Какие перемены смог различить в ней наш друг? Господи, какие там перемены! Это была она. Она всегда, во всякий холод, казалась разгоряченной и жизнерадостной, и сейчас, пока она сжимала его голову, ее котиковая шубка распахнулась над сборчатой блузкой, и Пнин вдыхал грейпфрутовый аромат ее шеи, и все бормотал: "Ну, ну, вот и хорошо, ну вот!" – простой словесный реквизит души, – и она воскликнула: "Ба, да у него замечательные новые зубы!". Он посадил ее в таксомотор, ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то, и Пнин подскользнулся на тротуаре, и таксист сказал: "Осторожней" и взял у него чемодан, и все это уже происходило прежде и точно в том же порядке.

Это школа в английских традициях, – рассказывала Лиза, пока они ехали по Парк-стрит. Нет, есть она не хочет, плотно позавтракала в Олбани. Очень изысканная школа – "very fancy", сказала она по-английски, – мальчишки играют в подобие тенниса – руками бьют мячик от стенки к стенке, – с ним в классе будет учиться – (и она с поддельной непринужденностью произнесла известное на всю Америку имя, которое ничего не сказало Пнину, поскольку не принадлежало ни поэту, ни президенту). "Кстати, прервал ее Пнин, пригибаясь и указывая, – отсюда как раз виден уголок кампуса." И все это ("Вижу, вижу, кампус как кампус"), все это, включая стипендию, благодаря влиянию доктора Мэйвуда. ("Ты знаешь, Тимофей, ты бы как-нибудь написал ему несколько слов, просто из вежливости.") Тамошний ректор, он священник, показывал ей награды, завоеванные Бернардом, когда тот учился в школе. Эрик, разумеется, хотел отправить Виктора в бесплатную школу, но она взяла верх. А жена его преподобия Хоппера – племянница английского графа.

– Ну вот. Это мой palazzo[26], – игриво промолвил Пнин, которому никак не удавалось сосредоточиться на ее быстрой речи.

Они вошли, – и он почувствовал вдруг, что этот день, которого он ждал с такой жгучей и страстной жадой, кончается слишком быстро, – уходит, уходит и через несколько минут уйдет совсем. Может быть, – думал он, – если она скажет, не откладывая, чего она от него хочет, день сумеет помедлить и станет по-настоящему радостным.

– Какой жуткий дом, – сказала она, садясь в кресло у телефона и снимая ботинки – такими знакомыми движениями! – Ты посмотри на эту акварель с минаретами. Они, должно быть, ужасные люди.

– Нет, – сказал Пнин, – они мои друзья.

– Мой дорогой Тимофей, – говорила она, поднимаясь с Пниным вверх, – в свое время у тебя были совершенно ужасные друзья.

– А вот моя комната, – сказал Пнин.

– Я, пожалуй, прилягу на твою целомудренную постель, Тимофей. И через несколько минут я прочитаю тебе одно стихотворение. Опять наплывает моя адская мигрень. Целый день так хорошо себя чувствовала.

– У меня есть аспирин.

– Uhn-uhn, – сказала она, и это заемное отрицание до странного не вязалось с родной ей речью.

Он отвернулся, когда она принялась стаскивать туфли, звук их падения на пол напомнил ему стародавние дни.

Она лежала навзничь – черная юбка, белая блузка, каштановые волосы, – розовой ладонью прикрывая глаза.

– Ну, а как твои дела? – спросил Пнин (пусть она скажет, что ей от меня нужно, скорее!), садясь в белую качалку у радиатора.

– У нас очень интересная работа, – сказала она, по-прежнему заслоняя глаза, – но я должна сказать тебе, что больше не люблю Эрика. Наши отношения распались. К тому же, Эрик равнодушен к ребенку. Говорит, что он отец земной, а ты, Тимофей, отец водоплавающий.

Пнин рассмеялся: он раскачивался, хохоча, и отроческая качалка явственно затрещала под ним. Глаза его были, как звезды, и совершенно мокрые.

С минуту она удивленно глядела на него из-под полной руки – потом продолжила:

– У Эрика по отношению к Виктору ригидный эмоциональный блок. Я уж и не знаю, сколько раз мальчик должен был убивать его в своих снах. И кроме того, в случае Эрика, – я это давно заметила, – вербализация только запутывает проблемы, вместо того, чтобы их прояснять. Он очень трудный человек. Какое у тебя жалование, Тимофей?

Он ответил.

– Ну, что же, – сказала она, – не Бог весть что. Но я полагаю, ты можешь даже что-то откладывать, – этого более чем достаточно для твоих нужд, для твоих микроскопических нужд, Тимофей.

Ее живот, плотно стянутый черной юбкой, два-три раза подпрыгнул в уютной, безмолвной, добродушной усмешке-воспоминании, и Пнин высморкался, продолжая покачивать головой с восторженным и

сладостным весельем.

– Послушай мои последние стихи, – сказала она, и вытянув руки вдоль тела и вытянувшись на спине, мерно запела протяжным, глубоким голосом:

Я надела темное платье

И монашенки я скромней:

Из слоновой кости распяты

Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий

Прожигают мое забытие,

И шепчу я имя Георгий –

Золотое имя твое!

– Он очень интересный человек, – продолжала она безо всякой остановки. – В общем-то, он практически англичанин. В войну летал на бомбардировщике, а сейчас работает в маклерской фирме, но его там не любят и не понимают. Он из старинного рода. Отец его был мечтатель, владелец плавучего казино, представляешь, ну и так далее, но его разорили во Флориде какие-то еврейские гангстеры, и он по собственной воле сел в тюрьму вместо другого, – это семья героев.

Она умокла. Шелест и звон в белых органных трубах скорее подчеркивали, чем нарушали тишину, повисшую в маленькой комнатке.

– Я обо всем рассказала Эрику, – продолжала Лиза со вздохом. – Теперь он твердит, что смог бы меня излечить, пожелай я ему помогать. Увы, я уже помогаю Георгию.

– Ну что же, *c'est la vie*[27], как оригинально выражается Эрик. Как ты ухитряешься спать, когда с потолка висит паутина? – Она посмотрела на ручные часы. – Бог ты мой, мне же нужно поспеть на автобус в полпятого. Придется тебе вызвать таксомотор. Я должна еще сказать тебе что-то очень важное.

Вот оно, наконец, – и с каким опозданием.

Она хотела, чтобы Тимофей откладывал для мальчика немного денег каждый месяц, потому что она не может сейчас обращаться с просьбами к Бернарду Мэйвуду, – и она может умереть, – а Эрику все равно, что будет дальше, – и кто-то же должен время от времени посылать ребенку небольшую сумму, как будто от матери – на карманные расходы, ведь ты

понимаешь, он ведь будет жить среди богатых мальчиков. Она напишет к Тимофею – адрес и другие подробности. Да, она и не сомневалась, что Тимофей – прелесть ("Ну, какой же ты душа"). А теперь, где тут у них уборная? И будь добр, позвони насчет таксомотора.

– Кстати, – сказала она, когда он подавал ей пальто и, как всегда, наморщась, искал ускользавшее устье рукава, а она совала руку и шарила, – знаешь, Тимофей, ты зря купил этот коричневый костюм: джентльмены не носят коричневого.

Он подождал, покамест она отъедет, и парком пошел восвояси. Схватить ее, удержать – такую, как есть, с ее жестокостью, пошлостью, с ослепительными голубыми глазами, с ее ничтожной поэзией, с толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, убогой, детской душой. Вдруг он подумал: Ведь если люди воссоединяются на Небесах (я в это не верю, но пусть), что же я стану делать, когда ко мне подползет и опутает это ссохшееся, беспомощное, увечное существо – ее душа? Но я пока на земле и, как ни удивительно, жив, и что-то есть и во мне, и в жизни

Казалось, он совершенно нежданно (ибо отчаянье редко ведет к усвоению великих истин) оказался на грани простой разгадки мировой тайны, но его отвлекли настойчивой просьбой. Белка, сидевшая под деревом, углядела шедшего по тропинке Пнина. Одним быстрым, струистым движеньем умный зверек вскарабкался на кромку питьевого фонтанчика, и когда Пнин приблизился, потянулся к нему овальным личиком, с хрипловато-трескучим лопотанием раздувая щеки. Пнин понял и, покопавшись немного, нашел то, что полагалось нажать. Презрительно поглядывая на него, жаждущая грызунья тотчас принялась покусывать коренастый мерцающий столбик воды и пила довольно долго. "Наверное, у нее жар", – думал Пнин, плача привольно и тихо, продолжая меж тем услужливо жать на краник и стараясь не встретиться взглядом с устремленными на него неприятными глазками. Утолив жажду, белка ускакала без малейших признаков благодарности.

Водоплавающий отец поплелся своей дорогой, дошел до конца тропинки и свернул в боковую улочку, где стоял маленький бар, выстроенный в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в створчатых окнах.

7

Когда Джоан с полной сумкой провизии, тремя пакетами и двумя журналами вернулась в четверть шестого домой, она обнаружила в почтовом ящике у крыльца заказное авиаписьмо от дочери. Прошло уже больше трех недель с тех пор, как Изабель коротко написала родителям, сообщив, что после медового месяца в Аризоне благополучно достигла города, в котором живет ее муж. Жонглируя пакетами, Джоан вскрыла конверт. Письмо было экстатически счастливым, и она проглотила его, и все слегка поплыло перед ее глазами в сиянии облегчения. На наружной двери она нащупала, а потом, слегка удивясь, увидела свисающие в кожаном футлярчике из замка ключи Пнина, похожие на кусочек его интимнейших внутренностей; она открыла с их помощью дверь и, едва войдя, услышала доносящийся из буфетной громкий

анархический грохот один за другим открывались и закрывались ящики посудных шкапов.

Она сложила на кухонный буфет пакеты и сумку и спросила, поворачась в направлении грохота: "Что вы там ищете, Тимофей?".

Он вышел, багровый, с безумным взглядом, и Джоан с ужасом увидела, что лицо его залито слезами.

— Я ищу, Джон, вискозу и соду, — трагически объявил он.

— Содовой, боюсь, нет, — сказала Джоан с присущей ей ясной англосаксонской невозмутимостью, — а виски сколько угодно в столовой горке. Однако не лучше ли вам выпить со мной чаю?

Он взмахнул по-русски руками: "сдаюсь".

— Нет, я вообще ничего не хочу, — сказал он и с невыносимым вздохом сел за кухонный стол.

Она присела рядом и раскрыла один из принесенных ею журналов.

— Давайте смотреть картинки, Тимофей.

— Я не хочу, Джон. Вы же знаете, я не понимаю, что в них реклама, а что — нет.

— Вы успокойтесь, Тимофей, и я вам все объясню. Вот, посмотрите, — эта мне нравится. Видите, как забавно. Здесь соединены две идеи — необитаемый остров и девушка "в облачке". Взгляните, Тимофей, ну, пожалуйста, — он неохотно надел очки для чтения, — это необитаемый остров, на нем всего одна пальма, а это — кусок разбитого плота, и вот матрос, потерпевший крушение, и корабельная кошка, которую он спас, а здесь, на скале...

— Невозможно, — сказал Пнин. — Такой маленький остров и тем более с пальмой не может существовать в таком большом море.

— Ну и что же, здесь он существует.

— Невозможная изоляция, — сказал Пнин.

— Да, но... Ну, право же, Тимофей, вы нечестно играете. Вы прекрасно знаете, ведь вы согласились с Лором, что мышление основано на компромиссе с логикой.

— С оговорками, — сказал Пнин. — Прежде всего, сама логика...

— Ну хорошо, боюсь, мы отклонились от нашей шутки. Вот, посмотрите на картинку. Это матрос, а это его киска, а тут тоскующая русалка, она не решается подойти к ним поближе, а теперь смотрите сюда, в "облачка" — над матросом и киской.

— Атомный взрыв, — мрачно сказал Пнин.

– Да ну, совсем не то. Гораздо веселее. Понимаете, эти круглые облачка изображают их мысли. Ну вот мы и добрались до самой шутки. Матрос воображает русалку с парой ножек, а киске она видится законченной рыбой.

– Лермонтов, – сказал Пнин, поднимая два пальца, – всего в двух стихотворениях сказал о русалках все, что о них можно сказать. Я не способен понять американский юмор, даже когда я счастлив, а должен признаться... – Трясущимися руками он снял очки, локтем отодвинул журнал и, уткнувшись в предплечье лбом, разразился сдавленными рыданиями.

Она услышала, как отворилась и захлопнулась входная дверь, и минуту спустя, Лоренс с игривой опаской сунулся в кухню. Правой рукой Джоан отослала его, левой показав на лежавший поверх пакетов радужный конверт. Во вспыхнувшей мельком улыбке, содержался конспект письма; Лоренс сграбастал письмо и, уже без игривости, на цыпочках вышел из кухни.

Ненужно мощные плечи Пнина по-прежнему содрогались. Она закрыла журнал и с минуту разглядывала обложку: яркие, как игрушки, школьники-малыши, Изабель и ребенок Гагенов, деревья, отбрасывающие еще бесполезную тень, белый шпиль, вайнделлские колокола.

– Она не захотела вернуться? – негромко спросила Джоан.

Пнин, не отрывая лба от руки, начал пристукивать по столу вяло сжатым кулаком.

– Ай хаф нафинг, – причитал он между звучными, влажными всхлипами. – Ай хаф нафинг лефт, нафинг, нафинг! [28]

Глава третья

1

За те восемь лет, что Пнин провел в Вайнделлском колледже, он менял жилища – по тем или иным причинам (главным образом, акустического характера) – едва ли не каждый семестр. Скопление последовательных комнат у него в памяти напоминало теперь те составленные для показа кучки кресел, кроватей и ламп, и уютные уголки у камина, которые, не обинуясь пространственно-временными различиями, соединяются в мягком свете мебельного магазина, а снаружи падает снег, густеют сумерки, и в сущности, никто никого не любит. Комнаты его вайнделлского периода выглядели весьма опрятными в сравнении с той, что была у него в

жилой части Нью-Йорка – как раз посередине между "Tsentrал Park" и "Reeverside", – этот квартал запомнился бумажным мусором на панели, яркой кучкой собачьего кала, на которой кто-то уже поскользнулся, и неутомимым мальчишкой, лупившим мячом по ступенькам бурого облезлого крыльца; но даже и эта комната становилась в сознании Пнина (где еще отстукивал мяч) положительно щегольской, когда он сравнивал ее со старыми, ныне занесенными пылью жилищами его долгой средне-европейской поры, поры нансеновского паспорта.

Впрочем, чем старше, тем разборчивей становился Пнин. Приятной обстановки ему уже было мало. Вайнделл – городок тихий, а Вайнделлвилль, лежащий в прогале холмов, – тишайший, но для Пнина ничто не было достаточно тихим. Существовала – в начале его тутошней жизни – одна "студия" в продуманно меблированном Общежитии холостых преподавателей, очень хорошее было место, если не считать некоторых издержек общительности ("Пинг-понг, Пнин?" – "Я больше не играю в детские игры"), пока не явились рабочие и не взялись дырывать мостовую, – улица Черепной Коробки, Пнинград, – и снова ее заделывать, и это тянулось чередованием тряских черных зигзагов и оглушительных пауз – неделями, и казалось невероятным, что они смогут когда-нибудь отыскать тот бесценный инструмент, который ошибкой захоронили. Была еще (это если выбирать там и сям лишь самые выдающиеся неудачи) другая комната в имевшем замечательно непроницаемый вид доме, называвшемся "Павильоном Герцога", в Вайнделлвилле: прелестный kabinet, над которым однако каждый вечер под рев туалетных водопадов и буханье дверей угрюмо топотали примитивными каменными ногами два чудовищных изваяния, – в коих невозможно было признать обладавших худосочным сложением настоящих его верхних соседей, ими оказались Старры с Отделения изящных искусств ("Я Кристофер, а это – Луиза"), ангельски кроткая и живо интересующаяся Достоевским и Шостаковичем чета. Также была – уже в других меблированных комнатах – совсем уж уютная спальня-кабинет, в которую никто не лез за даровым уроком русского языка, однако едва лишь грозная вайнделлская зима начала проникать в этот уют посредством мелких, но язвительных сквознячков, дувших не только от окна, а даже из шкапа и штепселей в плинтусах, комната обнаружила нечто вроде склонности к умопомешательству, загадочную манию, – а именно, в серебристом радиаторе завелась у Пнина упорно бормочущая, более или менее классическая музыка. Он пытался заглушить ее одеялом, словно певчую птицу в клетке, но пение продолжалось до той поры, пока дряхлая матушка миссис Тейер не перебралась в больницу, где и скончалась, после чего радиатор перешел на канадский французский.

Он испытал иные обители: комнаты, снимаемые в частных домах, которые хоть и отличались один от другого во множестве смыслов (не все, например, были обшиты досками, некоторые были оштукатурены, по крайней мере – частично), все же обладали одной общей родовой чертой: в книжных шкапах, стоявших в гостиной или на лестничных площадках, неизменно присутствовали Хендрик Виллем ван Лун и доктор Кронин; их могла разделять стайка журналов или какой-то лощеный и полнотелый исторический роман, или даже очередное перевоплощение миссис Гарнетт (и уж в таком доме, будьте уверены, где-нибудь непременно свисала со стены афиша Тулуз-Лотрека), но эта парочка

обнаруживалась непременно и обменивалась взорами нежного узнавания, наподобие двух старых друзей на людной вечеринке.

2

Он вернулся до поры в Общежитие, однако то же самое сделали и сверлильщики тротуара, да кроме них подоспели и новые неудобства. Сейчас Пнин все еще снимал розовостенную в белых оборках спальню на втором этаже дома Клементсов, это был первый дом, который ему по-настоящему нравился, и первая комната, в которой он прожил более года. К нынешнему времени он окончательно выполол все следы ее прежней жилицы, во всяком случае, так он полагал, ибо не заметил и, видимо, не заметит уже никогда веселую рожицу, нарисованную на стене как раз за изголовьем кровати, да несколько полустершихся карандашных отметок на дверном косяке, первая из которых – на высоте в четыре фута – появилась в 1940 году.

Вот уже больше недели Пнин один управлялся в доме: Джоан Клементс улетела в западный штат навестить замужнюю дочь, а два дня спустя, – едва начав весенний курс философии, – улетел на Запад и профессор Клементс, вызванный телеграммой.

Наш друг неторопливо съел завтрак, приятную основу коего составило молоко, по-прежнему поступавшее в дом, и в половине девятого был готов к ежедневному походу в кампус.

Сердце мое согревает тот российско-интеллигентский способ, посредством которого Пнин попадает внутрь своего пальто: склоненная голова обнаруживает ее совершенную голизну, подбородок, длинный, как у Герцогини из Страны Чудес, крепко прижимает перекрещенные концы зеленого шарфа, удерживая их на груди в требуемом положении, а Пнин тем временем, вскидывая широкие плечи, исхитряется попасть руками в обе проймы сразу, еще рывок, – и пальто надето.

Он подхватил свой портфель, проверил его содержимое и вышел.

Уже находясь от крыльца на расстоянии, равном броску газеты, Пнин вдруг вспомнил о книге, которую библиотека колледжа настоятельно просила вернуть, чтобы ею мог воспользоваться другой читатель. Минуту он боролся с собой, книга была еще нужна ему, однако слишком сильное сочувствие испытывал добрый Пнин к пылкому призыву иного (неведомого ему) ученого, чтобы не вернуться за толстым и увесистым томом: то был том 18-й, – посвященный преимущественно Толстому, – "Советского Золотого Фонда Литературы", Москва-Ленинград, 1940.

3

Органами, отвечающими за порождение звуков английской речи, являются: гортань, небо, губы, язык (пульчинелла этой труппы) и последнее (по порядку, но не по значению) – нижняя челюсть; на ее-то

сверхэнергические и отчасти жевательные движения и полагался главным образом Пнин, переводя на занятиях куски из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. Если его русский язык был музыкой, то английский – убийством. Особые затруднения ("дзи-ифи-икульти-и" на пниновском английском) были у него связаны со смягчением звуков, ему никак не удавалось устранить дополнительную русскую смазку из t и d, стоящих перед гласными, которые он столь причудливо умягчал. Его взрывное "hat" ("I never go in hat even in winter") [29] отличалось от общеамериканского выговора "hot" (типичного, скажем, для обитателей Вайнделла) лишь большей краткостью и оттого более походило на немецкий глагол "hat" (имеет). Долгие "o" у него неукоснительно становились короткими: "no" [30] звучало просто по-итальянски, что усиливалось его манерой утраивать это простое отрицание ("May I give you a lift, Mr Pnin?" – "No-no-no, I have only two paces from here" [31]). Он не умел (и не догадывался об этом) хоть как-то произносить долгое "y": единственное, что он мог смастерить, когда приходилось сказать "noon", это вялую гласную немецкого "nun" ("I have no classes in afternun on Tuesday. Today is Tuesday" [32]).

Вторник, верно; однако какое же сегодня число, вот что хотелось бы знать? День рождения Пнина, например, приходился на 3 февраля – по юлианскому календарю, в полном согласии с коим он в 1898 году родился в Петербурге. Теперь Пнин его больше не праздновал – отчасти потому, что после разлуки с Россией день этот как-то бочком проскакивал под григорианской личиной (тринадцатую, нет, двенадцатую днями позже), отчасти же потому, что на протяжении учебного года он жил в основном от понедельника до пятницы.

На затуманенной мелом классной доске Пнин выписал дату. Сгиб его руки еще помнил тяжесть "ЗФЛ'а". Дата, записанная им, ничего не имела общего с днем, ныне стоявшим в Вайнделле:

26 декабря 1829 года

Он старательно наverts большую белую точку и прибавил пониже:

3.03 пополудни, Санкт-Петербург

Все это усердно записывали: Фрэнк Бэкман, Роз Бальзамо, Фрэнк Кэрролл, Ирвинг Д. Герц, прекрасная и умная Мэрилин Хон, Джон Мид младший, Питер Волков и Аллен Брэдбери Уолш.

Пнин, зыблясь в безмолвном веселье, вновь уселся за стол: у него имелась в запасе история. Эта строчка из дурацкой русской грамматики: "Брожу ли я вдоль улиц шумных" ("Whether I wander along noisy streets"), является на самом деле первой строкой знаменитого стихотворения. Хоть и предполагалось, что Пнин на занятиях по начальному русскому курсу должен придерживаться простых языковых упражнений ("Мама, телефон! Брожу ли я вдоль улиц шумных. От Владивостока до Вашингтона 5000 миль"), он не упускал случая увлечь своих студентов на литературную и историческую экскурсию.

В восьми четырехстопных четверостишиях Пушкин описал болезненную

привычку, не покидавшую его никогда, – где бы он ни был, что бы ни делал, – привычку сосредоточенно размышлять о смерти, пристально вглядываясь в каждый мимолетящий день, стараясь угадать в его тайнописи некую "грядущую годовщину": день и месяц, которые обозначатся когда-нибудь и где-нибудь на его гробовом камне.

– "And where will fate send me", несовершенное будущее, "death"[33], – декламировал вдохновенный Пнин, откидывая голову и переводя с отважным буквализмом, – "in fight, in travel or in waves? Or will the neighbouring dale"[34] – то же, что "долина", теперь мы сказали бы "valley", – "accept my refrigerated ashes"[35], poussiere, "cold dust"[36], возможно, вернее. "And though it is indifferent to the insensible body"[37]...

Пнин добрался до конца и тогда, театрально ткнув в доску куском мела, который продолжал держать в руке, отметил, с какой тщательностью Пушкин указал день и даже минуту, когда было записано это стихотворение.

– Однако, – вскричал Пнин, – он умер совсем, совсем в другой день! Он умер... – Спинка стула, на которую с силой налег Пнин зловеще треснула, и вполне понятное напряжение класса разрядилось в молодом громком смехе.

(Когда-то, где-то – в Петербурге, в Праге? – один из двух музыкальных клоунов вытянул из-под другого рояльный стул, а тот, все играл в сидячей, хоть и лишенной сидения позе, не попортив своей рапсодии. Где же? Цирк Буша в Берлине!)

4

Пнин не уходил из классной на то время, пока студенты начального курса вытекали наружу, а студенты курса повышенной сложности просачивались вовнутрь. Кабинет, в котором лежал сейчас на картотечном ящике "Зол. Фонд Лит.", полуобернутый зеленым шарфом Пнина, находился на другом этаже в конце гулкого коридора, бок о бок с преподавательской уборной. До 1950 года (а теперь уже 1953-й, – как время-то летит!) Пнин делил с Миллером, – одним из младших преподавателей, – комнату на Отделении германистики, а затем ему предоставили в исключительное пользование кабинет R прежде там хранились швабры, но теперь его отделали заново. Всю весну Пнин любовно его пнинизировал. Кабинет достался ему с двумя плебейскими стульями, пробковой доской для объявлений, с забытой уборщиком жестянкой от половой мастики и столом об одной тумбе из неизвестно какого дерева. В Административном отделе Пнин выхитрил маленький стальной картотечный ящик с совершенно очаровательным запором. Руководимый Пниным молодой Миллер заключил в объятия и перетащил сюда принадлежащую Пнину половинку разъемного книжного шкапа. У старой миссис Мак-Кристалл, в чьем белом дощатом доме Пнин скоротал посредственную зиму (1949–1950), он приобрел за три доллара потертый, некогда турецкий ковер. С помощью того же уборщика была привинчена к краю стола точилка для карандашей – весьма утешительное

и весьма философское устройство, напевавшее, поедая желтый кончик и сладкую древесину, "тикондерога–тикондерога" и завершавшее пение беззвучным кружением в эфирной пустоте, – что и нам всем предстоит. Были у него и иные, еще более амбициозные планы, к примеру, приобрести покойное кресло и торшер. Когда после лета, проведенного за преподаванием в Вашингтоне, Пнин воротился в свой кабинет, на его ковре спала разжиревшая псина, а его мебель теснилась в темном углу, уступив место величественному столу из нержавеющей стали и парному к нему вращающемуся креслу, в котором сидел, писал и сам себе улыбался новоимпортированный австрийский ученый, доктор Бодо фон Фальтернфельс: и с этого времени Пнин махнул на кабинет R рукой.

5

В полдень Пнин, как обычно, вымыл руки и голову.

Он забрал из кабинета R пальто, шарф, книгу и портфель. Доктор Фальтернфельс писал и улыбался; его бутерброд лежал, наполовину развернутый; его собака издохла. Пнин спустился унылой лестницей и прошел через Музей Ваяния. Дом Гуманитарных Наук, в котором, впрочем, гнездились также Орнитология с Антропологией, соединялся ажурной, рококошной галереей с другим кирпичным строением – Фриз–Холлом, вмещающим столовые и преподавательский клуб; галерея отлого шла вверх, затем круто сворачивала и спускалась, теряясь в устоявшемся запахе картофельных хлопьев, в печали сбалансированного питания. В летнее время ее решетки оживлял трепет цветов, ныне же ледяной ветер насквозь продувал их наготу, и кто-то натянул подобранную красную варежку на носик помертвелою фонтана, стоявшего там, где одно из ответвлений галереи уходило к Дому президента.

Президент Пур, высокий, медлительный, пожилой господин в темных очках, гда два назад начал терять зрение и теперь ослеп почти полностью. Однако каждый день он с постоянством небесного светила приходил в Фриз–Холл, ведомый племянницей и секретаршей; являя фигуру почти античного величия, он шел в своем личном мраке к невидимому лэнчу и, хоть все давно привыкли к этим трагическим появлениям, тень тишины всякий раз повисала над залом, когда его подвели к резному креслу, и он ощупывал край стола; и странно было видеть на стене прямо за ним его стилизованное подобие в сиреновом двубортном костюме и в туфлях цвета красного дерева, уставившее сияющие фуксиновые глаза на свитки, которые вручали ему Рихард Вагнер, Достоевский и Конфуций, – группа эта была лет десять назад вписана Олегом Комаровым с Отделения изящных искусств в знаменитую фреску Ланга 1938 года, на которой вокруг всей обеденной залы шествовала пышная процессия исторических персонажей вперемешку с преподавателями Вайнделла.

Пнин, желавший кое о чем спросить соплеменника, сел рядом с ним. Этот Комаров, сын донского казака, был коротышкой с короткой же стрижкой и с ноздрями "мертвой головы". Он и Серафима – его крупная и веселая москвичка–жена, носившая тибетский талисман на свисавшей к вместительному мягкому животу длинной серебряной цепочке, – время от

времени закатывали русские вечера с русскими hors-d'œuvre[38], гитарной музыкой и более или менее поддельными народными песнями, – предоставляя застенчивым аспирантам возможность изучать ритуалы "vodka-drinking"[39] и иные замшелые национальные обряды; и встречая после этих празднеств неприветливого Пнина, Серафима с Олегом (она возводила очи горе, а он свои прикрывал ладонью) лепетали с трепетным самоумилением: "Господи, сколько мы им даем!", – под словом "им" разумелось отсталое американское население. Только другой русский мог понять, какую реакционно-советофильскую смесь являли собой псевдокрасочные Комаровы, для которых идеальная Россия состояла из Красной Армии, помазанника Божия, колхозов, антропософии, Православной Церкви и гидроэлектростанций. Обыкновенно Пнин и Комаров находились в состоянии приглушенной войны, но встречи были неизбежны, и те из их американских коллег, что видели в Комаровых "грандиозных людей" и передразнивали забавника Пнина, пребывали в уверенности, что художника с Пниным – водой не разольешь.

Трудно было бы сказать, не прибегая к некоторым весьма специальным тестам, который из двух – Пнин или Комаров – хуже говорил по-английски; всего вероятней – Пнин; но по причинам возраста, общей образованности и несколько более длительного пребывания в американских гражданах, Пнин находил возможным поправлять английские обороты, часто вставляемые в свою речь Комаровым, и Комарова это бесило даже сильнее, чем "антикварный либерализм" Пнина.

– Слушайте, Комаров, – сказал Пнин (довольно невежливое обращение).
– Я никак не возьму в толк, кому здесь могла понадобиться эта книга,
– ведь не моим же студентам; впрочем, если даже и вам, я все равно не понимаю, – зачем.

– Мне – нет, – ответил, взглянув на книгу, Комаров. – Not interested[40], – добавил он по-английски.

Пнин молча пошевелил губами и нижней челюстью, желая что-то сказать, однако не сказал и углубился в салат.

Поскольку сегодня был вторник, он мог сразу после ленча отправиться в свой любимый приют и остаться там до обеда. Никакие галереи не соединяли библиотеку вайнделлского колледжа с другими строениями, но с сердцем Пнина она соединялась крепко и сокровенно. Он шел мимо огромной бронзовой фигуры первого президента колледжа Альфеуса Фриза – в спортивной кепке и бриджах, державшего за рога бронзовый велосипед, на который он, судя по положению его левой ноги, навеки прилипшей к левой педали, вечно пытался взобраться. Снег лежал на седле, снег лежал и в нелепой корзинке, которую недавние шалуны

прицепили к рулю. "Хулиганы", – пропыхтел Пнин, покачав головой, и слегка оскользнулся на одной из плиток дорожки, круто спускавшейся по травянистому скату между безлиственных ильмов. Помимо большой книги под правой рукой, он нес в левой свой старый, европейского вида черный портфель и мерно помахивал им, держа за кожаную хватку и вышагивая к своим книгам, в свой скрипториум среди стеллажей, в рай российской премудрости.

Эллиптическая голубиная стая в круговом полете, серея на взлете, белея на хлопотливом спуске, и снова серея, прошла колесом по ясному бледному небу над библиотекой колледжа. Скорбно, будто в степи, свистнул далекий поезд. Тощая белка метнулась через облитый солнцем снежный лоскут, где тень ствола, оливково-зеленая на мураве, становилась ненадолго серовато-голубой, само же дерево с живым скребущим звуком поднималось, голое, в небо, по которому в третий и в последний раз пронеслась голубиная стая. Белка, уже невидимая в развилке, залопотала, браня кознедеев, возмечтавших выжить ее с дерева. Пнин опять поскользнулся на черном льду мощеной дорожки, махнул от внезапного встряха рукой и с улыбкой пустытника наклонился, чтобы поднять "Зол. Фонд Лит.", который лежал, широко раскрывшись на снимке русского выгона с Львом Толстым, устало бредущим на камеру, и долгогривыми лошадьми за его спиной, тоже повернувшими к фотографу свои невинные головы.

"В бою ли, в странствии, в волнах"? Иль в кампусе Вайнделла? Слегка пошевеливая зубными протезами, на которые налипла пленочка творога, Пнин поднялся по скользким ступеням библиотеки.

Подобно многим пожилым преподавателям колледжа, Пнин давно уже перестал замечать студентов – в кампусе, в коридоре, в библиотеке, – словом, где бы то ни было, за вычетом их функциональных скоплений в классах. Поначалу его сильно печалил вид кое-кого из них, крепко спавших среди развалин Знания, уронив бедные молодые головы на скрещенные руки; теперь он никого не видел в читальне, разве что попадались там и сям пригожие девичьи затылки.

За абонементным столом сидела миссис Тейер. Ее матушка приходилась двоюродной сестрой матери миссис Клементс.

– Как поживаете, профессор Пнин?

– Очень хорошо, миссис Файр.

– Лоренс и Джоан еще не вернулись?

– Нет. Я принес назад эту книгу, потому что получил эту карточку...

– Неужели бедняжка Изабель и вправду разводится?

– Не слышал об этом. Миссис Файр, позвольте мне спросить...

– Боюсь, если они вернутся с ней, нам придется искать для вас другую комнату.

– Да позвольте же мне задать вопрос, миссис Файр. Эта карточка, которую я получил вчера, – может быть, вы мне скажете, кто этот другой читатель.

– Сейчас посмотрю.

Она посмотрела. Другим читателем оказался Тимофей Пнин: том 18 был им затребован в прошлую пятницу. Верно было также и то, что том 18 был уже выдан тому же Пнину, который держал его с Рождества и который стоял сейчас, возложив на него руки и напоминая судью с родового портрета.

– Не может быть! – вскричал Пнин. – В пятницу я заказывал том 19 за 1947 год, а не том 18 за 1940-й.

– Но посмотрите, вы написали "том 18". Во всяком случае, 19-й пока регистрируется. Этот вы оставите у себя?

– 18-й, 19-й, – бормотал Пнин. – Велика разница! Год-то я правильно написал, вот что важно! Да, 18-й мне еще нужен, и пришлите мне открытку потолковее, когда получите 19-й.

Негромко ворча, он отнес громоздкий, сконфуженный том в свой альков и сложил его там, обернув шарфом.

Они просто читать не умеют, эти женщины. Год же был ясно указан.

Как обычно, он отправился в зал периодики и просмотрел новости в последнем (суббота, 12 февраля, – а нынче вторник, о небрежный читатель!) номере русской газеты, с 1918 года ежедневно выпускаемой в Чикаго русскими эмигрантами. Как обычно, он внимательно изучил объявления. Доктор Попов, сфотографированный в новом белом халате, сулил пожилым людям новые силы и радости. Музыкальная фирма перечисляла поступившие в продажу русские граммофонные записи, например, "Разбитая жизнь. Вальс" и "Песенка фронтового шофера". Отчасти припахивающий Гоголем гробовщик расхваливал свои катафалки de luxe[41], пригодные также для пикников. Другой гоголевский персонаж, из Майями, предлагал "двухкомнатную квартиру для трезвых среди цветов и фруктовых деревьев", тогда как в Хэммонде комната мечтательно предлагалась "в небольшой тихой семье", – и без какой-либо особой причины читающий вдруг с пылкой и смехотворной ясностью увидел своих родителей – доктора Павла Пнина и Валерию Пнину, его с медицинским журналом, ее с политическим обзором, – сидящими в креслах друг к дружке лицом в маленькой, весело освещенной гостиной на Галерной, в Петербурге, сорок лет тому назад.

Изучил он и очередной кусок страшно длинного и скучного препирательства между тремя эмигрантскими фракциями. Началось все с того, что фракция А обвинила фракцию Б в инертности и проиллюстрировала обвинение пословицей "Хочется на елку влезть, да боится на иголку сесть". В ответ появилось ядовитое письмо к редактору от "Старого Оптимиста", озаглавленное "Елки и инертность" и начинавшееся так: "Есть старая американская пословица, гласящая: 'Тому, кто живет в стеклянном доме, не стоит пытаться убить одним

камнем двух птиц'". Теперешний номер газеты содержал фельетон на две тысячи слов – вклад представителя фракции В, – названный "О елках, стеклянных домах и оптимизме", и Пнин прочитал его с большим интересом и сочувствием.

Затем он вернулся в свою кабинку, к собственным изысканиям.

Он замыслил написать "Малую историю" русской культуры, в которой российские несурезицы, обычаи, литературные анекдоты и тому подобное были бы подобраны так, чтобы отразить в миниатюре "Большую историю" – основное сцепление событий. Пока он находился на благословенной стадии сбора материала, и многие достойные молодые люди почитали для себя за честь и удовольствие наблюдать, как Пнин вытягивает каталожный ящик из обширной пазухи картотеки, несет его, словно большой орех, в укромный уголок и там тихо вкушает духовную пищу, то шевеля губами в безгласных комментариях – критических, озадаченных, удовлетворенных, – то подымая рудиментарные брови и забывая их опустить, и они остаются на просторном челе еще долгое время после того, как теряются все следы неудовольствия и сомнения. С Вайнделлом ему повезло. Превосходный библиофил и славист Джон Тэрстон Тодд (чей бородатый бронзовый бюст возвышался над питьевым фонтанчиком) навестил в девяностых годах гостеприимную Россию, а после его смерти книги, которые он во множестве вывез оттуда, тихо спланировали на дальние стеллажи. Натянув резиновые перчатки, дабы его не ужалило скрытое в металлических полках американское электричество, Пнин приходил к этим книгам и вожаденно их созерцал: малоизвестные журналы ревуших шестидесятых в мрамористых обложках, исторические монографии столетней давности с бурыми пятнами плесени на усыпительных страницах, русские классики в ужасных и трогательных камеевых переплетах с тиснеными профилями поэтов, напоминавшими влажноочитому Тимофею о детстве, в котором праздные пальцы его блуждали по книжной обложке со слегка потертой пушкинской бакенбардой или запачканным носом Жуковского.

Сегодня он начал (с отнюдь не горестным вздохом) выписывать из посвященного русским сказаниям объемистого труда Костромского (Москва, 1855), – редкая книга, из библиотеки не выдается, – место, где говорится о старинных языческих игрищах, которые все еще совершались о ту пору по дремучим верховьям Волги в дополнение к христианским обрядам. Во всю праздничную неделю мая – так называемую Зеленую Неделю, потом уже ставшую неделей Пятидесятницы, – сельские девушки плели венки из лютиков и жабника и, распевая обрывки древних любовных заклинаний, вешали эти венки на прибрежные ивы, а в Троицын день венки стряхивались в реку и, расплетаясь, плыли, словно змеи, и девушки плавали среди них и пели.

Тут странное словесное сходство поразило Пнина, он не успел ухватить его за русалочий хвост, но сделал пометку в справочной карточке и вновь нырнул в Костромского.

Когда Пнин снова поднял глаза, наступил уже час обеда.

Сняв очки, он протер костяшками державшей их руки свои голые, усталые глаза и, все еще погруженный в мысли, уставил кроткий взгляд

на окно вверх, где постепенно проступал, размывая его размышления, фиалковый сумеречный воздух с серебристым оттиском потолочных флуоресцентных ламп, и среди черных паучьих сучьев отражалась шеренга ярких книжных корешков.

Прежде чем покинуть библиотеку, он решил проверить, как произносится слово "interested", и обнаружил, что Уэбстер или по крайней мере его потрепанное издание 1930 года, лежавшее на столе в справочном зале, помещает ударение не на третий слог, – в отличие от него. Пнин поискал в конце список опечаток, не нашел такового и, закрыв слоноподобный словарь, с внезапным страхом сообразил, что где-то внутри его осталась в заточении справочная карточка с заметками, которую он так и держал в руке. Теперь придется искать и искать – среди 2500 тонких страниц, из которых иные разорваны! Услышав его восклицание, учтивый м-р Кейс – долговязый, розоволицый библиотекарь с прилизанными белыми волосами и в галстук-бабочкой – приблизился, приподнял колосса за обложки, перевернул и слегка встряхнул, отчего тот извергнул карманный гребешок, рождественскую открытку, заметки Пнина и призрачно-прозрачный листок папиросной бумаги, который с бесконечной медлительностью ниспал к ногам Пнина и был затем водворен м-ром Кейсом поверх Больших Печатей Соединенных Штатов и Их Территорий.

Пнин уложил справочную карточку в карман и при этом безо всякой подсказки вспомнил то, чего не сумел припомнить недавно:

"... плыла и пела, пела и плыла..."

Конечно! Смерть Офелии! "Гамлет"! В добром старом русском переводе Андрея Кронеберга 1844 года, бывшем отрадой юности Пнина, и его отца и деда! И здесь, так же как в пассаже Костромского, присутствуют, как помнится, ивы и венки. Где бы, однако, это проверить как следует? Увы, "Гамлет" Вильяма Шекспира не был приобретен мистером Тоддом, он отсутствовал в библиотеке вайнделлского колледжа, а сколько бы раз вы не выискивали что-либо в английской версии, вам никогда не приходилось встречать той или другой благородной, прекрасной, звучной строки, которая на всю жизнь врезалась в вашу память при чтении текста Кронеберга в великолепном издании Венгерова. Печально!

Уже совсем стемнело в печальном кампусе. Над дальними, еще более печальными холмами замешкалось под кучами туч небо густого черепашьего цвета. Душераздирающие огни Вайнделлвилля дрожали в складке этих сумеречных холмов и, по обыкновению, притворялись волшебными, хотя в действительности, как хорошо знал Пнин, городок, ежели до него добраться, окажется всего лишь шеренгой кирпичных домов, с заправочной станцией, катком и супермаркетом. Шагая к маленькой таверне на Лайбрери-лэйн, к большой порции виргинской ветчины и доброй бутылке пива, Пнин внезапно ощутил ужасную усталость. Не только том "Зол. Фонда" отяжелел после ненужного

посещения библиотеки, но и что-то еще, днем пропущенное Пниным мимо ушей, теперь томило и тяготило его, как тяготят нас задним числом глупости, которые мы совершили, грубости, до которых себя допустили, или угрозы, которыми предпочли пренебречь.

7

Сидя над второй неспешной бутылкой, Пнин обговаривал сам с собой следующий свой шаг или, вернее, выступал посредником в переговорах между Пниным, у которого устала голова и который плохо спал в последнее время, и ненасытимым Пниным, желавшим, по обыкновению, продолжить чтение дома до той поры, пока двухчасовой товарный не застанет, поднимаясь долиной. Было решено, наконец, что он ляжет спать сразу после посещения программы, представляемой в Новом Холле каждый второй вторник энергичными Кристоффером и Луизой Старр и состоящей из довольно мудреной музыки и редких фильмов, – программы, которую в прошлом году президент Пур называл, отвечая на некую нелепую критику, – "возможно, наиболее вдохновенным и вдохновляющим из предприятий, осуществляемых в нашем академическом сообществе в целом".

ЗФЛ мирно спал на коленях Пнина. Слева от него сидели двое студентов-индусов. Справа – дочь профессора Гагена, горластая девица, изучающая драматургию. Комаров, благодарение Богу, уселся слишком далеко позади, чтобы сюда смогли донестись его навряд ли интересные замечания.

Первая часть программы (три дряхлых короткометражки) навеяла скуку на нашего друга: эта тросточка, этот котелок, это бледное лицо, эти черные дугообразные брови, эти подергивающиеся ноздри не производили на него ни малейшего впечатления. Плясал ли несравненный комедиант с увенчанными цветами нимфами под солнцем, рядом с заждавшимся кактусом или был доисторическим человеком (с гибкой дубиной взамен гибкой трости), или его пожирал глазами здоровенный Мак Свейн посреди лихорадочного ночного клуба, старомодный, безъюрный Пнин оставался безучастным. "Клоун, – ворчал он себе под нос, – даже Глупышкин с Максом Линдером были смешнее."

Вторую часть программы составил документальный советский фильм, сделанный в конце сороковых годов. Предполагалось, что в нем нет ни капельки пропаганды, а одно только чистое искусство, радость и эйфория гордого труда. Нечесанные статные девушки маршировали во время древнего Праздника Весны со штандартами, на которых были начертаны строки старинных русских песен, вроде: "Руки прочь от Кореи", "Bas les mains devant la Corée", "La paz vencera a la guerra", "Der Friede beseigt den Krief"[42]. Санитарный самолет перебирался в Таджикистане через заснеженный хребет. Киргизские актеры посещали санаторию горняков и давали под пальмами импровизированное представление. С горного пастбища где-то в легендарной Осетии пастух по портативному радио докладывал Министру сельского хозяйства тамошней Республики о рождении ягненка. Мерцало Московское метро, его колонны и статуи, и шестеро предположительных

пассажиров сидели по мраморным скамьям. Семья заводского рабочего, приодевшись, коротала тихий вечерок дома, посреди гостиной, тесной от декоративных растений, под громадным шелковым абажуром. Восемь тысяч футбольных болельщиков смотрели матч между "Торпедо" и "Динамо". Восемь тысяч граждан на Московском заводе электроаппаратуры единодушно избирали товарища Сталина кандидатом в депутаты от Сталинского избирательного округа Москвы. Новейшая пассажирская модель "ЗИМ'а" с семьей заводского рабочего и еще кой-какими людьми отъезжала на загородный пикник. И тут...

"Я не должен, не должен, ох, какое идиотство", – твердил себе Пнин, чувствуя, как безотчетно, смехотворно, унижительно исторгают его слезные железы горячую, детскую, неодолимую влагу.

В солнечном мареве – парные лучи стояли между белых стволов берез, проливались сквозь колеблющуюся листву, петлистыми пятнами дрожали на коре, стекая в высокие травы, дымясь и сверкая в призрачных, немного нечетких гроздьях цветущей черемухи, – лесная русская глушь приняла в себя путника. По ней тянулась старая лесная дорога с двумя мягкими колеями и безостановочным движением грибов и ромашек. В сознании путника, устало бредущего в свое анахроническое жилище, он все еще шел по этой дороге; он снова был юношей, шагающим по лесу с толстой книгой подмышкой, дорога выводила его в романтическое, вольное, возлюбленное сияние огромного, не скошенного временем поля (кони прыжками уходили в стороны, хлеща серебристыми гривами по высоким цветам), а дремота уже долила Пнина, который теперь уютно свернулся в постели с тикающей и такающей на ночном столике четкой будильников – один на 7:30, другой на 8:00.

Комаров в небесно-синей рубашке склонился, настраивая гитару. Праздновался день рождения, и спокойный Сталин с глухим стуком опускал свой бюллетень на выборах правящих гробоносителей. В бою ли, в стран... в волнах или в Вайнделле... "Вандерфул!" сказал доктор Бодо фон Фальтернфельс, поднимая голову от писанины.

Пнин почти уже провалился в бархатное забытие, когда снаружи случилось что-то ужасное: стена и хватаясь за лоб, статуя преувеличенно хлопотала над сломанным бронзовым колесом, – и Пнин пробудился, и караван огней и горбатых теней прошел по оконным занавесям. Хлопнула дверца автомобиля, машина отъехала, ключ отомкнул хрупкий сквозистый дом, заговорили три трепещущих голоса, вздрогнув, осветились дом и щель под дверью Пнина. Это была горячка, инфекция. В страхе и в немощи, беззубый, одетый в ночную сорочку Пнин услышал, как поскакал по лестнице вверх чемодан, – на одной ноге, но очень ретиво, – и по той же, столь им знакомой лестнице взлетела пара юных ног, и уж различалось нетерпеливое дыхание... И впрямь, наверное, машинальное воскрешение счастливых воспоминаний о возвращении домой из скучных летних лагерей заставило бы Изабель пинком ноги распахнуть свою – пнинову – дверь, не останови ее вовремя остерегающий оклик матери.

Король, его отец, в белой-белой спортивной рубашке с отложным воротником и черном-черном блейзере сидел за просторным столом, чья полированная поверхность удваивала, перевернув, верхнюю половину тела, превращая его в подобие фигурной карты. По стенам огромной, в деревянных панелях, комнаты темнели портреты предков. В остальном она мало чем отличалась от кабинета директора школы Св. Варфоломея, находящейся на побережье Атлантики – примерно в трех тысячах миль к западу от воображаемого Дворца. Обильный весенний ливень хлестал по французским окнам, за которыми, куда ни глянь, дрожала и дымилась зеленая молодая листва. Казалось, ничто, кроме пелены дождя, не отделяет и не защищает Дворец от революции, которая вот уже несколько дней сотрясала город. ... На самом деле отцом Виктора был чудаковатый беженец-доктор, которого он никогда особенно не любил и которого не видел теперь уже почти два года.

Король, его более приемлемый отец, принял решение не отрекаться. Газеты не выходили. Восточный Экспресс со всеми его транзитными пассажирами застрял на пригородной станции, картинные пейзажи стояли на дебаркадере, отражаясь в лужах и глядя на занавешенные окна длинных загадочных вагонов. Дворец с его террасными садами и город под дворцовым холмом, и главная площадь города, где, несмотря на погоду, уже рубили головы и плясал народ, – все это находилось в самом центре креста, поперечины коего обрывались в Триесте, Граце, Будапеште и Загребе, как показывает "Справочный атлас мира" Рэнда Мак-Нэлли. А в самом центре этого центра сидел Король, спокойный и бледный и в целом довольно похожий на сына, каким этот подросток воображал себя в свои сорок лет. Спокойный и бледный, с чашкой кофе в руке, Король сидел спиной к изумрудово-серому окну и слушал не снявшего маски посланца – дородного пожилого вельможу в мокром плаще, сумевшего сквозь дождь и мятеж проскользнуть из осажденного Государственного Совета в отрезанный от мира Дворец.

– Абдикация! Добрая треть алфавита! – с легким акцентом холодно и язвительно молвил Король. – Я отвечаю – нет. Предпочитаю неизвестную величину изгнания.

Сказавши так, вдовый Король взглянул на настольную фотографию прекрасной женщины (ныне покойной), на ее огромные голубые глаза, на карминный рот (фото было цветным, негоже для короля, ну да ладно). Ветви сирени, расцветшей внезапно и преждевременно, буйно бились в обрызганные дождем стекла, словно маски, не допущенные на бал. Старый посланец поклонился и побрел по пустоши кабинета назад, втайне раздумывая, не умнее ли будет оставить в покое историю и удрать в Вену, где у него имелась кое-какая недвижимость. ... Конечно, мать Виктора на самом-то деле вовсе не умерла; она

разошлась с его отцом, доктором Эриком Виндом (ныне проживающим в Южной Америке) и вот-вот собиралась выйти в Буффало замуж за человека по фамилии Черч.

Ночь за ночью Виктор погружался в эти легкие мечтания, стараясь приманить сон в свою холодную нишу, куда из неугомонного дортуара долетал каждый звук. Обычно он не успевал добраться до решающего эпизода бегства, когда Король, в одиночестве – *solus rex*[43] (как именуют одинокого короля шахматные композиторы), – мерил шагами берег Богемского моря на мысе Бурь, где обещал ожидать его в мощной моторной лодке Персиваль Блейк, развеселый американец-авантюрист. В сущности, сама отсрочка этого волнующего и утешительного эпизода, само продление соблазна, венчающего раз от разу повторявшиеся фантазии, и образовывали основной механизм усыпительного воздействия.

Снятый в Берлине для американской аудитории итальянский фильм, в котором мальчишку с обезумевшим взглядом и в мятых шортах гнал по трущобам, развалинам и борделям многократный агент; версия "Очного цвета", недавно поставленная в соседней женской школе Св. Марфы; анонимный кафкианский рассказ, напечатанный в журнале *ci-devant avant-garde*[44] и прочитанный в классе мистером Пеннантом, меланхолическим англичанином "с прошлым"; и не в последнюю очередь обрывки семейных преданий о давнем (тому уже тридцать пять лет) бегстве русских интеллигентов от ленинского режима; – вот очевидные источники Викторовых фантазий; одно время они сильно его волновали, но ныне приобрели характер чисто утилитарный – простого и приятного снотворного средства.

2

Ему уже исполнилось четырнадцать, но выглядит он на два-три года старше, – и не из-за высокого роста (в нем около шести футов), а вследствие непринужденной легкости манер, выражения дружелюбной обособленности на простом, но приятном лице и полного отсутствия неуклюжести или скованности, что, отнюдь не исключая сдержанности либо скромности, сообщает нечто солнечное застенчивой и независимой вежливости его спокойной поведки. Сидевшая под левым глазом коричневая родинка размером почти в цент подчеркивала бледность щек. Не думаю, чтобы он кого-то любил.

Страстная детская привязанность давно сменилась в его отношении к матери нежной снисходительностью, и когда она на гладком и мишурном нью-йоркском английском с металлически-резкими носовыми тонами и мягкими провалами в пушистые руссизмы потчевала при нем посторонних рассказами, которые он слышал бесчисленное множество раз, и которые были либо чересчур приукрашены, либо весьма неточны, все, что он позволял себе, – это тайный вздох усмешливого смирения. Хуже приходилось, когда доктор Эрик Винд, напрочь лишенный юмора педант, веривший в безупречную чистоту своего английского языка (усвоенного в немецкой гимназии), важно выкладывал перед теми же посторонними замшелые остроты, именуя океан "бассейном" с убежденным и лукавым

выражением человека, в виде драгоценного дара подносящего слушателю пикантный оборот. Родители изо всей их психотерапевтической мочи изображали Лая с Йокастой, но мальчик оказался довольно посредственным Эдипчиком. Дабы не усложнять модного треугольника фрейдистической любовной интриги (мать–отец–дитя), первый Лизин муж не упоминался вообще. И только когда супружество Виндов стало разваливаться, примерно в то время, как Виктора записали в школу Св. Варфоломея, Лиза сообщила ему, что она, прежде чем покинуть Европу, называлась госпожой Пниной. Она рассказала, что первый ее муж также перебрался в Америку, что, фактически, Виктор скоро увидится с ним, а поскольку все, о чем невнятно толковала Лиза (широко раскрывая лучистые, в черных ресницах голубые глаза), неукоснительно приобретало налет прелести и тайны, фигура великого Тимофея Пнина, ученого и джентльмена, преподающего практически мертвый язык в знаменитом вайнделлском университете, находившемся примерно в трехстах милях к северо–западу от Св. Варфоломея, приобрела в гостеприимном сознании Виктора удивительное обаяние, родовое сходство с теми болгарскими царями и средиземными принцами, что были всемирно известными знатоками бабочек или морских раковин. Поэтому он обрадовался, когда профессор Пнин вступил с ним в серьезную и чинную переписку: за первым письмом, составленным на прелестном французском, но очень неважно отпечатанным, последовала красочная открытка с изображением "белки серой". Открытка принадлежала к познавательной серии "Наши Млекопитающие и Птицы", которую Пнин приобрел целиком специально для этой переписки. Виктор с удовольствием узнал, что название "squirrel" (белка) происходит от греческого слова, означающего "тенехвостая". Пнин пригласил Виктора на ближайшие каникулы в гости и проинформировал мальчика, что встретит его на автобусной станции Вайнделла. "Чтобы быть признанным, – писал по–английски Пнин, – я появлюсь в темных очках и с черным портфелем в руках с моей серебряной монограммой."

3

И Эрика, и Лизу Винд болезненно занимала наследственность и вместо того, чтобы радоваться художественному дарованию Виктора, они сумрачно тревожились по поводу ее родовых корней. Искусство и наука были довольно живо представлены в унаследованном им прошлом. Следовало ли отнести пристрастие Виктора к краскам на счет Ганса Андерсена (никакого родства со снотворным датчанином), бывшего в Любеке витражным художником, пока он не спятил (вообразив себя кафедральным собором) вскоре после того, как его любимая дочь вышла за седого гамбургского ювелира, автора монографии о сапфирах и деда Эрика по материнской линии? Или Викторова почти патологическая точность во владении карандашом и пером явилась побочным продуктом боголеповской учености? Ибо прадедом матери Виктора (и седьмым сыном деревенского батюшки) был никто иной, как тот самый редкостный гений, Феофилакт Боголепов, у которого один лишь Николай Лобачевский и мог оспорить звание величайшего русского математика. Остается только гадать.

Гений – это несхожесть. Двух лет от роду Виктор не чертил

спиралистых загогулин, пытаясь изобразить пуговицу или иллюминатор, как делают миллионы детей, – а у тебя почему не так? Он любовно выводил круги – совершенно круглые и совершенно замкнутые. Трехлетний ребенок, когда его просят срисовать квадрат, изображает один сносный угол, а все прочее удовлетворенно передает волнистой или скругленной чертой; Виктор же в три года не только с презрительной точностью воспроизвел далеко не идеальный квадратик, изображенный исследователем (д-р Лайза Винд), но и добавил рядом с копией другой – поменьше. Он так и не прошел той начальной стадии графической активности, на которой дети рисуют "korffussler'ов" (головастики) или шалтаев-болтаев с L-образными ножками и с руками, заканчивающимися грабелными зубьями; собственно говоря, он вообще избегал изображать человеческие фигуры, и когда папа (д-р Эрик Винд) заставил его нарисовать маму (д-р Лайза Винд), он отозвался прелестной волной, сообщив, что это – мамина тень на новом холодильнике. В четыре года он выдумал собственный способ штриховки. В пять начал рисовать предметы в перспективе: точный ракурс боковой стены, карликовое деревце вдаль, один предмет полузаслоняет другой. А в шесть Виктор уже различал то, чего многие взрослые так и не научаются видеть – оттенки теней, разницу в цвете между тенью от апельсина и тенью от сливы или плода авокадо.

Для Виндов Виктор был трудным ребенком постольку, поскольку он таковым быть отказывался. С точки зрения Винда каждому мальчику свойственны пылкое стремление оскотить своего отца и ностальгическая потребность вновь войти в материнское лоно. Однако Виктор не обнаруживал никаких поведенческих отклонений – в носу не ковырял, большого пальца не сосал и даже ногтей не обкусывал. Д-р Винд, дабы избежать того, что он, будучи радиофилом, именовал "статическими наводками личностного родства", подверг своего неприступного сына психометрическому тестированию, проведенному в Институте двумя сторонними лицами – молодым д-ром Стерном и его улыбчивой женой ("Я – Луис, а это Кристина"). Результаты, впрочем, оказались не то пугающими, не то нулевыми: семилетний субъект проявил в так называемом "Тесте на изображение животных" Годунова сенсационное умственное развитие семнадцатилетнего юноши, когда же ему был предъявлен так называемый "Тест для подростков" Фэрвью, соответствующий показатель быстро съехал до уровня двух лет. Сколько трудов, мастерства и выдумки потрачено на разработку этих изумительных методов! А некоторые пациенты совсем не желают сотрудничать, просто позор! Существует, к примеру, "Тест на абсолютно свободные ассоциации" Кента-Розанофф, в котором малытку Джо или Джейн просят откликаться на "стимулирующие слова", каковы "стол", "утка", "музыка", "тошнота", "толщина", "низкий", "глубокий", "длинный", "блаженство", "плод", "мать", "гриб". Существует очаровательная игра "Любопытство-Позиция" Бьевра – утеша дождливых вечеров, – когда маленьких Сэма или Руби просят выставлять закорючки против названий тех вещей, которых он (она) побаивается, к примеру, "смерть", "падение", "сновидение", "циклоны", "похороны", "отец", "ночь", "операция", "спальня", "ванная", "сливаться" и тому подобное; существует "Абстрактный тест" Августы Ангст, в котором малышке (das Kleine) приказывают изобразить не отрывая руки понятия из заданного списка ("стоны", "наслаждение", "темнота"). И, конечно, есть еще "Игра в куклы", где маленьким Патрику или Патриции

предлагают чету одинаковых резиновых куколок и хорошенький кусочек пластилина, – который Пат может приделать к одной из них перед тем, как она или он начинает игру, – а еще выдают красивенький кукольный домик, в котором так много комнат и масса изящных крошечных вещиц, включая ночной горшок размером не более желудевой чашечки и домашнюю аптечку, и кочергу, и двуспальную кровать, и даже махонькие резиновые перчатки на кухне, и ты, детка, можешь быть совсем нехорошим(–ей) и делать с куклой–папой все, что захочешь, если тебе покажется, что она побила куклу–маму, когда в их спальне погас свет. Но дурной мальчик Виктор не пожелал играть с Лу и Тиной, он пренебрег куколками, он вычеркнул все перечисленные в списке слова (что вообще против правил) и сотворил рисунки, не имеющие вовсе никакого недочеловеческого значения.

Ничего, представлявшего хотя бы малейший интерес для терапевтов, не смог обнаружить Виктор и в тех прекрасных, да, прекрасных! кляксах Роршаха, в которых другие детишки видят (или обязаны видеть) самые разные вещи – репки, скрепки и поскребки, червей имбецильности, невротические стволы, эротические галоши, зонты или гантели. Опять–таки, и ни один из небрежных набросков Виктора не представлял так называемой мандалы, – термин, предположительно означающий (на санскрите) магический круг, д-р Юнг и с ним иные прилагают его ко всякой каракульке, более–менее близкой по форме к четырехсторонней протяженной структуре, – таковы, например, ополовиненный манговый плод или колесо, или крест, на котором эго распинаются, как морфо на расправилках, или, говоря совсем уже точно, молекула углерода с четверкой ее валентностей – эта главная химическая компонента мозга, машинально увеличиваемая и отображаемая на бумаге.

Стерны сообщали, что "к сожалению, психологическая ценность ментальных картин и словесных ассоциаций Виктора полностью затемняется художественными наклонностями мальчика". И с той поры маленькому пациенту Виндов, трудно засыпавшему и страдавшему отсутствием аппетита, разрешили читать в постели за полночь и уклоняться от утренней овсянки.

4

Планируя образование своего сына, Лиза разрывалась между двух либидо: потребностью оделить его новейшими благами современной детской психотерапии и стремлением найти среди американских систем религиозного отсчета наилучшее приближение к мелодическим и благотворным радостям Православия, этого кроткого исповедания, чьи требования к личной совести столь малы в сравнении с утешениями, которые оно предлагает.

Сначала маленький Виктор попал в прогрессивный детский сад в Нью–Джерси, потом, по совету одних русских друзей он посещал там же школу. Управлял школой священник епископальной церкви, зарекомендовавший себя благоразумным и способным учителем, снисходительным к одаренным детям, как бы ни были они чудачливы и скандальны; Виктор определенно был несколько странен, но зато очень

тих. В двенадцать лет он перешел в школу Св. Варфоломея.

Внешне "Сен-Барт" представлял собой большую массу претенциозного красного кирпича, воздвигнутую в пригороде Крэнтона, штат Массачусетс, в 1869 году. Главное здание образовывало три стороны большого прямоугольника, четвертую составляла сводчатая галерея. Островерхую башенку над воротами, покрытую с одного боку лоснистым пятилистным плющом, несколько тяжеловесно венчал каменный кельтский крест. Ветер рябью бежал по плющу, как по конской спине. Напрасно считают, что со временем тон красного кирпича становится более сочным, – в добром старом Сен-Барте он становился лишь более грязным. Ниже креста и прямо над звучной на вид, но на деле совершенно лишенной эха входной аркой было изваяно что-то вроде кинжала, – попытка изобразить мясницкий нож, который так неодобрительно держит (в "Венском Требнике") святой Варфоломей, один из Апостолов, – а именно тот, с которого содрали заживо кожу, оставив его на съедение мухам летом 65 года по Рождеству Христову или около того, в городе Албанополисе, ныне Дербенте, на юго-востоке России. Гроб его, выброшенный гневливым царем в Каспийское море, мирно приплыл на остров Липари, что у берегов Сицилии, – последнее, видимо, следует считать легендой, особенно если принять во внимание, что Каспийское море еще со времен плейстоцена оставалось морем исключительно внутренним. Под этим геральдическим орудием, напоминавшим скорее нацеленную ввысь морковку, отполированные буквы английской готики выводили "Sursum"[45]. На мураве перед воротами обыкновенно дремали в своей приватной Аркадии две смиренных английских овчарки, принадлежавших одному из учителей и нежно друг к другу привязанных.

Лизе при первом посещении школы все здесь очень понравилось, – от площадок для игры в "файвс" и часовни до гипсовых слепков по коридорам и снимков соборов в классных. Спальни трех младших классов были поделены на ниши, в каждой свое окно; в конце спальни располагалась комната воспитателя. Не мог посетитель не восхититься и прекрасным гимнастическим залом. Весьма также поражали воображение дубовые скамьи и подбалочный свод часовни, полстолетия назад сооруженной в романском стиле на средства Джулиуса Шонберга, шерстяного фабриканта и брата всемирно известного египтолога Сэмюэля Шонберга, погибшего при землетрясении в Мессине. В школе служили двадцать пять преподавателей и ректор – преподобный Арчибальд Хоппер, облачавшийся в теплые дни в элегантно-серое священническое одеяние и выполнявший свои обязанности в лучезарном неведении интриги, которая вот-вот грозила завершиться его низвержением.

5

Хотя верховным органом Виктора были глаза, общее представление о Сен-Барте проникло в его сознание большей частью через посредство обоняния и слуха. Затхлый, унылый запах старого лакированного дерева стоял в дортуарах, ночами звучали в нишах громкие гастрические взрывы, сопровождаемые нарочито усиленными особым рода взвизгами кроватных пружин, а по утрам (в 6:45) гудел в коридоре – над

пустырем головной боли – звонок. Запах идолопоклонства и ладана исходил от курильницы, свисавшей на цепях и на цепных тенях с ребристого потолка часовни; звучал медовый голос преподобного Хоппера, тонко сплетавшего изысканности с вульгаризмами, звучал Гимн 166 "Солнце души моей", который новичкам вменялось в обязанность заучивать наизусть, и несло по раздевалке застарелым потом из большой корзины на колесах, содержащей общий запас гимнастических суспензориюв, – противный серый клубок, из которого следовало выпутать для себя подвязку, надевавшуюся в начале спортивного часа, – и как печальны и резки казались вскрики, гроздьями долетавшие с каждой из четырех спортивных площадок!

Обладая коэффициентом интеллектуального развития под сто восемьдесят (при среднем в девяносто), Виктор легко стал первым из тридцати шести учеников класса, собственно, – одним из трех лучших в школе. Он не испытывал особого уважения к большинству учителей, но почитал Лэйка – чудовищно толстого, с кустистыми бровями и волосатыми руками, принимавшего в присутствии спортивных, румяных мальчишек (Виктор не относился ни к тем, ни к другим) вид угрюмого смущения. Похожий на Будду, Лэйк царил в удивительно опрятной студии, схожей больше с приемной в художественной галерее, чем с мастерской. Ничто не украшало ее бледно-серых стен, кроме двух картинок в одинаковых рамках: копии фотошедевра Гертруды Кэзебайер "Мать и дитя" (1897) с мечтательным, ангеловидным младенцем, смотрящим вверх и в сторону (на что?), и точно так же тонированной репродукции головы Христа с рембрандтовых "Паломников на пути в Эммаус" с таким же, лишь чуть менее небесным выражением глаз и рта.

Он родился в Огайо, учился в Париже и в Риме, учил в Эквадоре и в Японии. Был признанным художественным экспертом, и многие диву давались, – что заставляло его на протяжении последних десяти лет хоронить себя в школе Св. Варфоломея? Одаренный угрюмым темпераментом гения, он был лишен оригинальности и сознавал это; его собственные полотна всегда казались замечательно тонкими имитациями, хотя никто и никогда не сумел бы с полной уверенностью сказать, чьей манере он подражает. Глубинное знание бесчисленных технических приемов, безразличие ко всякого рода "школам" и "течениям", отвращение к шарлатанам, убежденность, что не существует никакой решительно разницы между жантильной акварелью прошлого века и, скажем, условным неопластицизмом или банальной беспредметностью нынешнего, и что ничего, кроме личного дара, в счет не идет, – все это делало из него недюжинного учителя. В школе не испытывали особенного восторга ни от методов Лэйка, ни от результатов их применения, однако держали его, потому что наличие в штате по крайности одного знаменитого чудака есть свидетельство стиля. Среди множества утешающих душу вещей, которым учил Лэйк, было то, что расположение цветов солнечного спектра образует не замкнутый круг, но спираль оттенков – от кадмиево-красного и оранжевых, через стронциево-желтый и бледную райскую зелень, к кобальтово-синему и лиловым, и здесь последовательность не переходит сызнова к красным, но вступает на новый виток, который начинается с лавандово-серого и теряется в золушкиных тенях, выходящих за пределы человеческого восприятия. Он учил, что не существует ни Мусорной школы, ни Мизерной школы, ни школы Мазутной. Что произведение искусства,

созданное из веревки, почтовых марок, левой газетки и голубиногo помета, имеет своей основой набор смертельно скучных банальностей. Что нет ничего пошлее и буржуазнее, чем паранойя. Что Дали – это в сущности брат-близнец Нормана Рокуэлла, украденный в детстве цыганами. Что Ван-Гог второсортен, а Пикассо велик, несмотря на его коммерческий пунтик; и что если Дега сумел обессмертить ипе сапеша[46], то почему бы Виктору Винду не сделать того же для автомобиля?

Один из способов достичь этого состоял в том, чтобы заставить окрестный пейзаж пронизать автомобиль. Тут сгодился бы полированный черный "Седан", особенно припаркованный на пересечении обсаженной деревьями улицы с одним из тех грузноватых весенних небес, чьи обрюзглые серые облака и амебные кляксы синевы кажутся более вещественными, чем укрomные ильмы и уклончивая мостовая. Разойдем теперь кузов машины на отдельные линии и плоскости и снова их сложим, переведа на язык отражений. Последние будут иными для каждой из частей: крыша покажет нам перевернутые деревья со смазанными ветвями, врастающими, подобно корням, в водянистую фотографию неба, где дом проплывает, как кит, – спохватной мыслью об архитектуре; одну из сторон капота загрузит полоска густого небесного кобальта; тончайший узор черных веток отразится в заднем стекле; и замечательно пустынный вид – растянувшийся горизонт, далекий дом и одинокое дерево, – вытянется вдоль бампера. Этот процесс подражания и слияния Лэйк называл необходимой "натурализацией" рукотворных вещей. На улицах Крэнтона Виктор находил подходящий автомобиль и несколько времени слонялся вокруг. Внезапное солнце – полускрытое, но слепящее – присоединялось к нему. Для того воровства, какое задумал Виктор, лучшего соучастника не найти. В хромированном покрытии, в оправленном солнцем стекле головных фар он видел улицу и себя самого достойными сравнения с микрокосмической версией комнаты (уменьшенные люди – вид сверху), возникавшей в особом, волшебном выпуклом зеркале, какими полтысячи лет тому пользовались Ван-Эйк, Петрус Кристус и Мемлинг, вписывая себя в подробные интерьеры за спиной кислого торговца или домашней Мадонны.

В последний номер школьного журнала Виктор представил стихотворение о живописцах, подписанное псевдонимом "Муанэ" и с эпиграфом: "Следует вообще избегать дурных красных цветов, даже старательно изготовленные, они остаются дурными" (цитата из старой книги по технике живописи, неожиданно обернувшаяся политическим афоризмом). Начиналось оно так:

Leonardo! Strange diseases

strike at madders mixed with lead:

nun-pale now are Mona Lise's

lips that you had made so red.[47]

Он мечтал смягчать (подобно Старым Мастерам) свои краски медом, фиговым соком, маковым маслом и слизью розовых улиток. Он любил акварель и масло, но побаивался слишком хрупкой пастели и слишком жесткой темперы. Он изучал свои материалы с тщанием и терпением ненасытного ребенка – одного из тех подмастерьий художника (это уже мечтается Лэйку!), коротко стриженного парнишки с яркими глазами, проводившего годы и годы, растирая краски в мастерской какого-нибудь великого итальянского небописца, в мире янтаря и райской глазури. В восемь лет он как-то сказал матери, что хочет написать воздух. В девять он познал чувственное наслаждение постепенной размывки. И что ему было до того, что эта нежная светотень, отпрыск приглушенных красок и прозрачных полутонов, давно уже померла за тюремной решеткой абстрактного искусства, в богадельне прескверного примитивизма? Он по очереди помещал предметы – яблоко, карандаш, шахматную пешку, гребешок – за стакан воды и испытующе вглядывался в каждый из них: красное яблоко превращалось в аккуратно вырезанную красную полосу, ограниченную прямым горизонтом – полстакана Красного моря, Счастливая Аравия. Короткий карандаш, если его наклонить, изгибался подобно стилизованной змее, а удерживаемый стойком, становился чудовищно толстым – пирамидальным. Черная пешка, когда ее двигали взад-вперед, расщеплялась, оборачиваясь четюю черных муравьев. Гребешок, поставленный на попа, заполнял стакан чудесно располосованной жидкостью – коктейлем "Зебра".

6

В канун того дня, когда собирался приехать Виктор, Пнин зашел в спортивный магазин на вайнделлской Мэйн-стрит и потребовал футбольный мяч. Требование было не по сезону, но мяч ему дали.

– Нет-нет, – сказал Пнин. – Мне не нужно яйца или, скажем, торпеды. Я хочу простой футбольный мяч. Круглый!

И посредством ладоней и запястий он очертил портативный земной шар. Это был тот самый жест, к которому Пнин прибегал на занятиях, рассказывая о "гармонической целостности" Пушкина.

Продавец поднял палец и молча принес мяч.

– Да, вот этот я куплю, – с величавым удовлетворением сказал Пнин.

Неся подмышкой покупку, обернутую в бурую бумагу и заклеенную скотчем, он вошел в книжную лавку и спросил "Мартина Идена".

– Иден-Иден-Иден, – потирая лоб, быстро повторила высокая смуглая женщина. – Постойте, – вы имеете в виду не книгу о британском государственном деятеле? Или ее?

– Я имею в виду, – ответил Пнин, – знаменитое произведение – роман знаменитого американского писателя Джека Лондона.

– Лондон–Лондон–Лондон, – произнесла женщина, держась за виски.

Ей на помощь явился с трубкой в руке мистер Твид, ее муж, сочинитель стихов местного значения. После некоторых поисков он вынес из пыльных глубин своего не весьма процветающего магазина старое издание "Сына Волка".

– Боюсь, это все, – сказал он, – что у нас есть из книг данного автора.

– Странно! – сказал Пнин. – Превратности славы! В России, помнится, все – дети, взрослые, доктора, адвокаты, – все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но о-кей, о-кей, беру.

Воротившись в дом, где он снимал комнату в этом году, профессор Пнин выложил мяч и книгу на стол расположенной в верхнем этаже гостевой. Склонив набок голову, он оглядел дары. Бесформенно обернутый мяч выглядел не очень привлекательно, и Пнин его разоблачил. Показался красивый кожаный бок. Комната была опрятной, уютной. Школьнику наверняка понравится эта картинка, на которой снежок сбивает цилиндр с профессора. Постель только что застелила женщина, приходившая прибирать в доме; старый Билл Шеппард, владелец дома, поднялся с первого этажа и с важным видом ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый и влажный ветер протискивался в открытое окно, и слышался шум ручья, бурливо бегущего низом. Собирался дождь. Пнин затворил окно.

У себя в комнате, помещавшейся на этом же этаже, он обнаружил записку. По телефону передали лаконичную телеграмму от Виктора, сообщавшую, что он задержится ровно на двадцать четыре часа.

7

Виктора и еще пятерых мальчиков лишили одного бесценного дня пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Виктор, имевший слабый желудок и не имевший недостатка по части обонятельных фобий (каждую из которых он любовно скрывал от Виндов), на самом деле в курении не участвовал, если не считать двух–трех робких попыток; несколько раз он покорно сопровождал на запретный чердак двух своих лучших друзей, безудержных авантюристов, – Тони Брэйда младшего и Ланса Боке. Попастъ туда можно было, пройдя кладовку и поднявшись затем по железной лесенке, выходившей на узкие мостки, шедшие прямо под кровлей. Здесь одновременно видимым и осязаемым становился чарующий, пугающе хрупкий скелет здания – доски и балки, путаница разгородок, слоистые тени, хлипкая дранка, сквозь которую нога проваливалась в трескучую штукатурку, опадавшую под ней с невидимого потолка. Лабиринт заканчивался маленькой платформой, подвешенной на крюках в амбразуре на самом верху декоративного фронтона, среди пестрой неразберихи затхлых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили; мальчики повинились. Тони Брэйду, внуку прославленного ректора школы Св. Варфоломея, разрешили, учтя семейные обстоятельства, уехать: любящий кузен хотел повидаться с

ним перед тем, как отплыть в Европу. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали наравне с остальными.

Как я уже говорил, ректором во времена Виктора был его преподобие м-р Хоппер – темноволосое, со свежим цветом лица, не лишенное приятности пустое место, пылко обожаемое бостонскими матронами. Пока Виктор и его преступные друзья обедали с семейством Хопперов, в их адрес время от времени отпускались, – особенно усердствовала сладкогласая миссис Хоппер, англичанка, тетушка которой вышла замуж за графа, – прозрачные намеки: его преподобие, весьма вероятно, смягчится и возьмет шестерых мальчуганов, в этот последний их вечер здесь, в город, в кино, вместо того, чтобы отправить всех спать пораньше. И вот, после обеда, дружески подмигнув, она предложила им следовать за его преподобием, бодро шагавшим к выходу.

Старомодные попечители школы, возможно, и склонны были предать забвению парочку пороков, которым Хоппер за время его короткой и ничем не примечательной карьеры подвергнул нескольких сугубых лиходеев; но не существует на свете мальчишки, который переварил бы подленькую ухмылку, искривившую красные губы ректора, когда тот приостановился на пути к вестибюлю, дабы прихватить аккуратно сложенную квадратом одежду – сутану и стихарь; автофургон ждал у дверей и, "подклепав кандалы", как выразились мальчики, вероломный служитель культа отвез их за двенадцать миль на выездную проповедь в Радберн, в промозглую кирпичную церковь, на показ тамошней худосочной пастве.

8

Теоретически из Крэнтона проще всего добраться до Вайнделла, взяв такси до Фреймингема, там сев в скорый поезд на Олбани, а в Олбани пересев в местный и проехав немного к северо-западу; на деле же этот простейший способ был также и наименее удобным. То ли между двумя железными дорогами существовала застарелая феодальная распря, то ли они сговорились предоставить честный спортивный шанс иным средствам передвижения, факт остается фактом: сколько бы вы ни тасовали расписания, трехчасовое ожидание в Олбани оставалось наикратчайшим из возможных.

Имелся еще автобус, уходивший из Олбани в 11 утра и приходящий в Вайнделл в 3 часа дня, но, чтобы попасть на него, пришлось бы выехать из Фреймингема поездом в 6.31, а Виктор знал, что так рано ему не подняться; вместо этого он отправился чуть более поздним и значительно более медленным поездом, позволявшим попасть в Олбани на последний автобус до Вайнделла; этот автобус и доставил его туда в половине девятого вечера.

На всем пути шел дождь. Дождь шел и на подступах к вайнделлскому

вокзалу. Из-за присущей его натуре мечтательной и мягкой рассеянности Виктор во всякой очереди неизменно оказывался последним. Он давно уже свыкся с этим изъяном, как свыкаешься с хромотой или слабым зрением. Слегка ссутулясь из-за своего роста, он без нетерпения следовал за гуськом вытекавшими из автобуса на сверкающий асфальт пассажирами: две грузные старые дамы в полупрозрачных плащах, похожие на картофелины в целлофане, семи-восьмилетний стриженный ежиком мальчик с хрупкой, украшенной ямочкой шеей, многоугольный, стеснительный пожилой калека, который отверг постороннюю помощь и выбирался из автобуса по частям, троица румяных вайнделлских студенточек в брючках, доходивших до розовых коленок, измаянная мать мальчугана и еще пассажиры, а уж за ними – Виктор с саквояжем в руке и двумя журналами подмышкой.

Под аркой автобусной станции совершенно лысый мужчина, смугловатый, в темных очках и с черным портфелем, склонился в дружелюбных приветственных расспросах к мальчику с тонкой шеей, тот, однако, упрямо качал головой и указывал на мать, ожидавшую когда из чрева "Грейхаунда" появится багаж. Весело и застенчиво Виктор прервал это *quid pro quo* [48]. Господин с коричневой лысиной снял очки и, разогнувшись, посмотрел вверх-вверх-вверх на долгого-долго-долгого Виктора, на его голубые глаза и рыжевато-русые волосы. Развитые скуловые мускулы Пнина приподнялись, округлив загорелые щеки: лоб, нос, даже крупные красивые уши – все приняло участие в улыбке. В общем и целом, встреча получилась весьма удовлетворительной.

Пнин предложил оставить багаж и пройтись один квартал, если Виктор не боится дождя (дождь лил, и асфальт, как каровое озеро, блестел в темноте под большими, шумливыми деревьями). Поздний обед, рассудил Пнин, – это целый праздник для мальчика.

– Ты хорошо доехал? Неприятных приключений не было?

– Никаких, сэр.

– Ты очень голоден?

– Нет, сэр. Не особенно.

– Меня зовут Тимофей, – сказал Пнин, когда они поудобнее уселись перед окном захудалого старого ресторанчика. – Второй слог произносится как "tuff" [49], а ударение – на последнем слоге, "эй", как в слове "grey" [50], но немного протяжнее. "Тимофей Павлович Пнин", что означает "Тимоти, сын Пола". В отчестве ударение на первом слоге, а все остальное глотается, – Тимофей Палыч. Я долго сам с собой обсуждал этот вопрос, – давай протрем ножи и вилки, – и решил, что ты должен называть меня просто м-р Тим, или еще короче – Тим, как делает кое-кто из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это – ты что будешь есть? Телячью отбивную? О-кей, я тоже съем телячью отбивную, – это, разумеется, уступка Америке, моей новой родине, чудесной Америке, которая порой поражает меня, но всегда внушает почтение. Поначалу я сильно смущался...

Поначалу Пнин сильно смущался легкостью, с которой в Америке

перескакивают на манеру обращаться друг к другу по именам: после одной-единственной вечеринки с айсбергом в капле виски для начала и со множеством виски, одобренного каплей водопроводной воды, под конец, ожидается, что ты теперь вечно будете называть незнакомца с седыми висками "Джимом", а он тебя "Тимом". Если же ты забывался и наутро обращался к нему "профессор Эверет" (его настоящее имя для вас), это оказывалось (для него) жутким оскорблением. Перебирая своих русских друзей – по всей Европе и Соединенным Штатам, – Тимофей Палыч мог легко насчитать по малости шестьдесят близких ему людей, с которыми он был накоротке знаком года, скажем, с 1920-го и которых никогда не называл иначе, как Вадим Вадимыч, Иван Христофорович или Самуил Израелевич, – каждого по-своему, разумеется, – и они, столь же тепло к нему расположенные, называли его по имени-отчеству, крепко пожимая при встрече руку: "А-а, Тимофей Палыч! Ну как? А вы, батенька, здорово постарели!".

Пнин говорил. Виктора его говор не удивлял, – он слышал немало русских, говоривших по-английски, и не смущался тем, что Пнин произносит слово "family"[51] так, словно первый его слог это "женщина" по-французски.

– Мне по-французски легче говорить, чем по-английски, сказал Пнин, – а ты, *vous comprenez le franzaais? Bien? Assez bien? Un peu?*[52]

– *Tres un peu*[53], – сказал Виктор.

– Жаль, но ничего не поделаешь. Теперь я тебе расскажу про спорт. Первое в русской литературе описание бокса мы находим в стихотворении Михаила Лермонтова, родившегося в 1814-м году и убитого в 1841-м, – очень легко запомнить. Напротив, первое описание тенниса можно обнаружить в романе Толстого "Анна Каренина", оно относится к 1875 году. Однажды, в пору моей юности, – это было в России, в сельской местности, на широте Лабрадора, – мне дали ракетку, чтобы я поиграл с семьей ("family") востоковеда Готовцева, ты, может быть, слышал о нем. Стоял, помнится, чудный летний день, мы играли, играли, играли, пока не потеряли все двенадцать мячей. Тебе тоже, когда ты состаришься, интересно будет вспомнить о прошлом.

– Другой игрой, – продолжал Пнин, обильно подслащивая свой кофе, – был, натурально, крокет. Я был чемпионом крокета. Впрочем, любимой народной потехой были так называемые "городки", что означает "маленькие города". Помню площадку в саду и чудесное ощущение юности: я был крепок, ходил в вышитой русской рубахе, теперь никто не играет в такие здоровые игры.

Он покончил с отбивной и продолжил изложение своего предмета.

– На земле, – рассказывал Пнин, – рисовали большой квадрат и устанавливали в нем такие цилиндрические деревянные плашки, вроде колонн, представляешь? – а потом с некоторого расстояния метали в них толстую палку, с силой, как бумеранг, – таким широким взмахом руки, – извини меня, – к счастью это не соль, а сахар.

– Я и теперь еще слышу, – говорил Пнин, поднимая дырчатую сахарницу и покачивая головой в удивлении перед упорством памяти, – и теперь еще слышу "трах!", когда кто-нибудь попадал по деревяшкам, и они взлетали на воздух. Ты почему не доедаешь? Не нравится?

– Ужасно вкусно, – сказал Виктор, – но я не голоден.

– О, ты должен есть больше, гораздо больше, если хочешь стать футболистом.

– Боюсь, я равнодушен к футболу. Вернее, я его терпеть не могу. Сказать по правде, я и в других играх не очень силен.

– Ты не любишь футбола? – спросил Пнин и на его выразительном лице появилось испуганное выражение. Он выпучил губы. Он раскрыл их, – но ничего не сказал. Молча съел он ванильное сливочное мороженое, в котором ванили не было, да и делали его не из сливок.

– А теперь мы заберем твой багаж и такси, – сказал Пнин.

Как только они достигли Шеппард-хауза, Пнин затащил Виктора в гостиную и торопливо познакомил его с хозяином, старым Биллом Шеппардом, прежним управляющим хозяйством колледжа (совершенно глухим, с кнопкой в ухе), и с его братом, Бобом Шеппардом, приехавшим недавно из Буффало, чтобы жить с Биллом после того, как жена Билла скончалась. На минуту оставив Виктора с ними, Пнин торопливо затоптал вверх. Дом был легко уязвимым строением, и обстановка внизу отозвалась разнообразными вибрациями на топот вверх и на внезапный скрежет оконной рамы в комнате для гостей.

– Или вот эта картина, – говорил глухой мистер Шеппард, тыча нравоучительным пальцем в висящую на стене большую мутную акварель, – тут изображена ферма, на которой мы с братом обычно проводили лето годов, этак, пятьдесят назад. Ее написала мамина школьная подруга, Грэйс Уэллс, у ее сына, Чарли Уэллса, отель в Вайнделлвилле, по-моему, доктор Нин его знает очень, очень хороший человек. Покойница-жена тоже рисовала. Я вам сейчас покажу кое-какие ее работы. Ну, вот хоть это дерево, видите, за амбаром, – его и не углядишь...

Страшные треск и грохот донеслись с лестницы. Пнин, по пути вниз, оступился.

– Весной 1905 года, – говорил мистер Шеппард, угрожая картине пальцем, – под этим самым тополем...

Он увидел, как брат вместе с Виктором бросились из комнаты к подножию лестницы. Бедный Пнин проехался спиной по последним ступенькам. С минуту он пролежал навзничь, туда-сюда поводя глазами. Ему помогли подняться. Кости остались целы.

Улыбнувшись, Пнин сказал:

– Совсем как в превосходном рассказе Толстого, – ты должен как–

нибуть прочитает его, Виктор, – про Ивана Ильича Головина, который тоже упал и приобрел впоследствии почку рака. Теперь Виктор пойдет со мной наверх.

С саквояжем в руке Виктор последовал за Пниным. На площадке висела репродукция "La Berceuse" [54] Ван-Гога, и Виктор походя приветствовал ее кивком иронического узнавания. Комнату для гостей заполнил шум дождя, лившего по душистым ветвям в черноте, обрамленной раскрытым окном. На столе лежала завернутая книга и десятидолларовая бумажка. Виктор просиял и поклонился хмуроватому, но доброму хозяину. "Разверни-ка", – сказал Пнин.

С учтивой готовностью Виктор подчинился. Он присел на край кровати, – русые волосы лоснистыми прядями упали на правый висок, полосатый галстук повис, выбившись из-под серой куртки, раздвинулись нескладные затянутые серой фланелью колени, – и живо открыл книгу. Он собирался ее похвалить, во-первых, потому что это подарок и, во-вторых, он думал, что книга переведена с родного языка Пнина. Он помнил, что в Психометрическом институте работал доктор Яков Лондон, уроженец России. На беду, Виктору подвернулся абзац о Заринске, дочери вождя юконских индейцев, и он с легким сердцем принял ее за русскую барышню. "В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, были и страх и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива, она даже дышать забывала..." [55]

– Я думаю, мне это понравится, – сказал вежливый Виктор. – Прошлым летом я читал "Преступление и..." – Молодой зевек растянул стойко улыбающийся рот. С приязнью, с одобрением, с болью сердечной смотрел Пнин на Лизу, раззевавшуюся после долгого, счастливого вечера у Арбениных или Полянских, – в Париже, пятнадцать, двадцать, двадцать пять лет назад.

– Довольно чтения на сегодня, – сказал Пнин. – Я знаю, это очень увлекательная книга, но ты сможешь читать и читать ее завтра. Желаю тебе спокойной ночи. Ванная напротив, через площадку.

И пожав Виктору руку, он ушел в свою комнату.

9

Все еще шел дождь. В доме Шеппарда погасли огни. Ручей, обычно трепетной струйкой сочившийся по оврагу за садом, этой ночью обратился в шумный поток, который кувыркался, истово пресмыкаясь перед силой тяжести, и нес по буковым и еловым проходам прошлогодние листья, какие-то безлистые ветки и новенький, ненужный ему футбольный мяч, недавно скатившийся вдоль пологой лужайки после того, как Пнин казнил его на старинный манер – выбрасываньем из окна. Пнин заснул, наконец, несмотря на ощущение неудобства в спине, и в одном из тех сновидений, что по-прежнему преследуют русских изгнанников, хоть со времени их бегства от большевиков прошла уже треть столетия, увидел себя в несуразном плаще, несущимся прочь из химерического дворца по огромным чернильным лужам, под затянутой

облаками луной, а после шагающим вдоль пустынной полосы берега со своим покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая стука моторной лодки, в которой явится за ними из безнадежного моря их загадочный спаситель. Братья Шеппарды не спали в смежных кроватях, на матрацах "Прекрасный Отдых", – младший слушал дождь, идущий во тьме, и раздумывал, не продать ли им все же этот дом с его гулкой кровлей и волглым садом; старший лежал, думая о тишине, о влажном зеленом кладбище, о старой ферме, о тополе, в который много лет назад ударила молния и убила Джона Хеда, смутного дальнего родича. Виктор на сей раз заснул мгновенно, едва засунув голову под подушку, – недавно изобретенный способ, о котором д-р Эрик Винд (сидящий сейчас на скамье у фонтана в Кито, Эквадор) никогда не узнает. Около половины второго Шеппарды захрапели, глухой погромыхивал после каждого вдоха и вообще звучал куда солиднее брата, высвистывавшего сдержанно и печально. На песчаном берегу, по которому продолжал расхаживать Пнин (его встревоженный друг пошел домой, за картой), появились и пошли на него чередой отпечатки чьих-то ступней, и он проснулся, хватая ртом воздух. Ныла спина. Пятый час уже. Дождь перестал.

Пнин вздохнул русским вздохом ("ох-хо-хо") и поискал положение поудобней. Старый Билл Шеппард протащился вниз, в уборную, сокрушая за собою дом, потом поплелся назад.

Вот и опять все уснули. Жаль, что никто не видал представления, разыгранного на пустынной улице, – там рассветный ветер наморщил большую, светозарную лужу, превратив отраженные в ней телефонные провода в неразборчивые строки черных зигзагов.

Глава пятая

1

С верхней площадки старой, редко навещаемой наблюдательной вышки – "дозорной башни", как она называлась прежде, – стоящей на восьмисотфутовом лесистом холме, именуемом Маунт-Эттрик, в одном из прекраснейших среди прекрасных штатов Новой Англии, предприимчивый летний турист (Миранда или Мэри, Том или Джим, – их карандашные имена почти сплошь покрывали перила) мог любоваться морем зелени, состоящим из кленов, буков, пахучего тополя и сосны. Милях примерно в пяти к западу стройная белая колокольня метила место, на котором укоренился городишко Онкведо, некогда славный своими источниками. В трех милях к северу, на приречной прочисти у подножия муравчатого пригорка различались фронтоны нарядного дома (называемого розно: "Куково", "Дом Кука", "Замок Кука" или "Сосны" – его исконное имя). Вдоль южного отрога Маунт-Эттрик, просквозив Онкведо, уходила к

востоку автострада штата. Многочисленные проселки и пешеходные тропы пересекали лесистую равнину, изображавшую треугольник, ограниченный довольно извилистой гипотенузой мощеного проселка, уклонявшегося из Онкведо на северо-восток – к "Соснам", – длинным катетом упомянутой автострады и коротким – реки, стянутой стальным мостом вблизи Маунт-Эттрик и деревянным у "Куково".

Теплым пасмурным днем лета 1954 года Мэри или Альмира, или, уж коли на то пошло, Вольфганг фон Гете, коего имя вырезал вдоль балюстрады некий старомодный шутник, могли бы увидеть автомобиль, перед самым мостом свернувший с автострады и теперь бестолково тыкавшийся туда-сюда в лабиринте сомнительных дорог. Он продвигался опасливо и нетвердо и всякий раз что новая мысль посещала его осаживал, подымая за собою пыль, словно пес, кидающий задними лапами землю. Особе менее благодушной, нежели наш воображаемый зритель, могло бы, пожалуй, представиться, что за рулем этого бледно-голубого, яйцевидного, двудверного "Седана", в неопределенных летах и посредственном состоянии, сидит слабоумный. На самом же деле им правил профессор вайнделлского университета Тимофей Пнин.

Брать уроки в Вайнделлской водительской школе Пнин затеял еще в начале года, но "истинное понимание", как он выражался, осенило его лишь месяца через два, он тогда слег с разболевшей спиной и не имел иных занятий, как изучение (упоительное) сорокастраничного "Руководства для водителей", изданного губернатором штата совместно с еще одним знатоком, а также статьи "Автомобиль" в Encyclopedia Americana, снабженной изображениями Трансмиссий, Карбюраторов, Тормозных Колодок и участника "Глидденского турне" (американской кругосветки 1905 года), засевавшего в проселочной грязи средь наводящего уныние пейзажа. Тогда и только тогда, томясь на ложе страданий, вертя ступнями и переключая воображаемые передачи, он одолел, наконец, двойственность своих первоначальных смутных представлений. Во время настоящих уроков с грубияном инструктором, который мешал развитию его стиля вождения, лез с ненужными указаниями, что-то выкрикивая на техническом жаргоне, норовил на повороте вырвать у Пнина руль и постоянно досаждал спокойному, интеллигентному ученику вульгарной хулой, Пнин оказался совершенно неспособным перцептуально соединить машину, которую он вел в своем сознании, с той, какую он вел по дороге. Теперь они наконец-то слились. Если он и провалил первый экзамен на водительские права, то главным образом потому, что затеял с экзаменатором спор, неудачно выбрав минуту для попытки доказать, что нет для разумного существа ничего унижительней требования, чтобы оно развивало в себе постыдный условный рефлекс, вставая при красном свете, когда вокруг не видать ни единой живой души – ни проезжей, ни пешей. В следующий раз он оказался осмотрительней и экзамен сдал. Неотразимая старшекурсница Мэрилин Хон, посещавшая его русский класс, продала ему за сотню долларов свой смирный старый автомобиль: она выходила замуж за обладателя машины куда более роскошной. Поездка из Вайнделла в Онкведо с попутной ночевкой в туристском кемпинге получилась медленной и трудной, но лишенной происшествий. Перед самым въездом в Онкведо он остановился у заправочной станции и вылез из машины глотнуть сельского воздуха. Непроницаемо белое небо висело над клеверным полем, и вопль петуха, зазубренный и забубенный, –

вокальная похвальба – доносился со сложенной у лачуги поленицы дров. Какая-то случайная нота в крике слегка охриплой птицы и теплый ветер, прильнувший к Пнину в поисках внимания, узнавания, чего-нибудь, бегло напомнили ему тусклый давний дымчатый день, в который он, первокурсник Петроградского университета, сошел на маленькой станции летнего балтийского курорта, и звуки, и запахи, и печаль

– Малость душновато, – сказал волосаторукий служитель, начиная протирать ветровое стекло.

Пнин вытащил из бумажника письмо, развернул прикрепленный к нему крохотный листок с мимеографированным наброском карты и спросил служителя, далеко ли до церкви, у которой полагалось свернуть налево, чтобы попасть в "Дом Кука". Просто поразительно, до чего этот человек походил на коллегу Пнина из вайнделлского университета, на доктора Гагена, – одно из тех зряшных сходств, бессмысленных, как дурной каламбур.

– Ну, туда есть дорога получше, – сказал поддельный Гаген. – Эту-то грузовики совсем размололи, да и не понравится вам, как она петляет. Значит, сейчас поезжайте прямо. Проедете город. А милях в пяти от Онкведо, как проскочите слева тропинку на Маунт-Эттрик, перед самым мостом возьмете первый поворот налево. Там хорошая дорога, гравий.

Он живо обогнул капот и проехался тряпкой по другому краю ветрового стекла.

– Повернете на север да так и берите к северу на каждом перекрестке, там, правда, просек многовато, в лесу, но вы берите все время к северу и доберетесь до "Кукова" ровно за двенадцать минут. Мимо не проедете.

Теперь Пнин, уже около часа плутавший в лабиринте лесных дорог, пришел к заключению, что "брать на север", да в сущности и само слово "север", – ничего ему не говорят. Он также не мог уяснить, что понудило его – разумного человека – послушаться случайно подвернувшегося болтуна вместо того, чтобы твердо следовать педантично точным указаниям, которые друг его, Александр Петрович Кукольников (известный здесь как Ал Кук), прислал ему вместе с приглашением провести лето в его большом и гостеприимном поместье. Наш неудачливый водитель заблудился к этому времени слишком основательно, чтобы суметь вернуться на автостраду, а поскольку он не обладал значительным опытом маневрирования на узких, ухабистых дорогах со рвами и чуть ли не оврагами по обеим сторонам, колебания Пнина и его попытки нащупать правильный путь и приняли те причудливые визуальные формы, за которыми зритель, расположась на дозорной вышке, мог бы следить сострадающим оком; впрочем, на этих заброшенных и безжизненных высотах не было ни единой живой души за исключением муравья (а у того своих забот хватало), сумевшего за несколько часов дурацкого усердия каким-то образом достигнуть верхней площадки и балюстрады (его "автострады") и понемногу впадавшего в такое же самое состояние озабоченности и тревоги, что и нелепый игрушечный автомобиль, двигавшийся вниз. Ветер утих. Море древесных вершин под бледным небом никакой, казалось, жизни не

вмещало. Однако хлопнул ружейный выстрел, взвился в небо сучок. Плотно пригнанные верхушки ветвей в той части иначе бездвижного леса заколебались в спадающей череде встряхиваний и скачков, свинговый ритм прошел от дерева к дереву и все опять успокоилось. Другая минута прошла, и тогда совершилось все сразу: муравей отыскал балясину, ведущую на крышу башни, и полез по ней с обновленным усердием, вспыхнуло солнце, и Пнин, уже достигший пределов отчаяния, вдруг очутился на мощенной дороге со ржавым, но все блестящим указателем, направляющим путника "К Соснам".

2

Ал Кук был сыном Петра Кукольникова, богатого московского купца из старообрядцев, самоучки, мецената и филантропа, – знаменитого Кукольникова, которого дважды сажали при последнем царе в довольно уютную крепость за денежную поддержку эсеровских групп (по преимуществу террористических), а при Ленине умертвили (после почти недели средневековых пыток в советском застенке) как "агента империализма". Семья его в 1925 году добралась через Харбин до Америки, и молодой Кук, благодаря спокойному упорству, практической сметке и некоторым научным навыкам, достиг высокого и обеспеченного положения в огромном химическом концерне. Добродушный, очень замкнутый, плотного сложения человек с большим недвижным лицом, стянутым посерединке маленьким аккуратным пенсне, он казался тем, кем и был – администратором, масоном, игроком в гольф, человеком преуспевающим и осторожным. Он говорил на бесцветном, замечательно правильном английском языке с еле заметным славянским акцентом и был чудесным хозяином – молчаливой разновидности – с мерцающими глазами и хайболом в каждой руке; и только лишь когда кое-кто из русских друзей, самых давних и близких, засиживался у него за полночь, Александр Петрович затевал вдруг разговоры о Боге, о Лермонтове, о Свободе, обнаруживая наследственную черту опрометчивого идеализма, способную немало смутить подслушивающего марксиста.

Он женился на Сюзан Маршалл – милой, говорливой блондинке, дочери Чарльза Дж. Маршалла, изобретателя, – и поскольку никто не сумел бы вообразить Александра и Сюзан иначе, как в окружении большой и здоровой семьи, меня и иных привязанных к ним людей поразило известие, что вследствие операции Сюзан навек осталась бездетной. Они еще были молоды и любили друг дружку со старомодными простотой и цельностью, весьма утешительными для глаз, и, не имея возможности населить свое поместье детьми и внуками, собирали летом каждого четного года престарелых русских (так сказать, отцов и дядей Кука); а по нечетным приглашали "американцев" – то есть деловых знакомых Александра или друзей и родичей Сюзан.

Пнин ехал в "Сосны" впервые, но я бывал там и прежде. Русские эмигранты – либералы и интеллигенты, покинувшие Россию в начале 20-х, толпами слонялись по дому. Их можно было обнаружить во всяком пятнышке крапчатой тени, – сидящими на деревенских скамьях, беседуя об эмигрантских писателях: Алпатове, Бунине, Сирине; лежащими в качающихся гамаках с воскресным номером русской газеты поверх лица

(традиционная защита от мух); пьющими на веранде чай с вареньем; бродящими по лесу в раздумьях о съедобности местных поганок.

Самуил Львович Шполянский, крупный, величественно спокойный старый господин, и маленький, возбудимый, заикающийся граф Федор Никитич Порошин – оба были около 20 года членами одного из тех героических Краевых правительств, что создавались в русской глуши горстками демократов для отпора диктатуре большевиков, – прогуливались в сосновых аллеях, обсуждая тактику, которую надлежало принять на ближайшем объединенном заседании Комитета Свободной России (основанного ими в Нью-Йорке) с иной антикоммунистической организацией, помоложе. Из беседки доносились приглушенные белой акацией обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим историю философии, и профессором Шато, преподававшим философию истории: "Реальность – это долговременность!" – бухал один из голосов, Болотова; – "Никак нет! – восклицал другой. – Мыльный пузырь так же реален, как зуб ископаемого!"

Пнин и Шато, оба родившиеся в конце девяностых годов девятнадцатого столетия, были, сравнительно с прочими, юноши. Другие мужчины в большинстве уже перевалили за шестьдесят и устало тащились дальше. Напротив, некоторым дамам, графине Порошиной, например, и мадам Болотовой было всего лишь под пятьдесят и, благодаря гигиенической атмосфере Нового Света, они не только сохранили, но и усовершенствовали свою привлекательность. Кое-кто из родителей привозил с собою детей – здоровых, рослых, вялых, трудных американских детей студенческого возраста, не чувствующих Природы, не владеющих русским и не имеющих ни малейшего интереса к тонкостям родительского происхождения и прошлого. Казалось, что они пребывали в "Соснах" в телесной или духовной плоскости, нигде не пересекавшей ту, в которой обитали их родители: временами переходя из своего мира в наш сквозь некое межпространственное мерцание, отвечая резкостью на добродушную русскую шутку или участливый совет, и вновь расточаясь в воздухе, всегда отчужденные (так что родителям начинало казаться, будто они дали жизнь поколению эльфов) и предпочитавшие любой купленный в Онкведо продукт любую консервную банку восхитительной русской снеди, которой Куки потчевали гостей на продолжительных, громогласных обедах, задаваемых на крытой веранде. С великой печалью говорил Порошин о своих детях (второкурсниках Игоре и Ольге): "Мои близнецы повергают меня в отчаяние. Когда я встречаюсь с ними – за обедом или завтраком – и пытаюсь им рассказать об интереснейших, увлекательнейших вещах, скажем, о выборном самоуправлении на русском Крайнем Севере в семнадцатом веке или, к примеру, что-то из истории первых медицинских школ в России, – есть, кстати, превосходная монография Чистовича об этом, изданная в 1883 году, – они попросту разбегаются по своим комнатам и включают там радио". Эти молодые люди были в "Соснах" и тем летом, когда туда пригласили Пнина. Они, впрочем, оставались невидимы и страшно скучали бы в этой глуши, не закатись сюда на уик-энд из Бостона поклонник Ольги в импозантном автомобиле, университетский молодой человек, фамилии которого никто, похоже, толком не знал, и не найди Игорь подружки в Нине, дочери Болотовых, статной растрепе с египетскими глазами и смуглыми конечностями, обучавшейся в нью-йоркской балетной школе.

Хозяйство "Сосен" вела Прасковья, крепкая шестидесятилетняя женщина из простых, такая живая, словно лет ей было десятка на два меньше. Радостно было смотреть, как она стоит на заднем крыльце и обзирает цыплят, – уперев руки в боки, облегаемые вислыми домодельными шортами, одетая в подобающую почтенной матроне кофту, украшенную фальшивыми бриллиантами. Она нянчила Александра и его брата еще в Харбине, когда те были детьми, а ныне ей помогал по дому муж, спокойный и мрачный старый казак, у которого главными в жизни страстями были: переплетное дело (самостоятельно освоенный и почти патологический процесс, коему он норовил подвергнуть всякий подвернувшийся под руку старый каталог или сенсационный журнальчик), приготовление наливок и истребление мелкого лесного зверья.

Из гостей этого лета Пнин прекрасно знал профессора Шато, друга своей молодости, – в начале двадцатых оба учились в Пражском университете; он хорошо знал и Болотовых, в последний раз виденных им в 1949 году, когда он приветствовал их речью на торжественном обеде, устроенном в "Барбизон-Плаза" Ассоциацией русских ученых-эмигрантов по случаю приезда Болотовых из Франции. Лично меня никогда особенно не привлекали ни сам Болотов, ни его философские труды, в которых темное так удивительно сочетается с тривиальным; у него, может статься, целая гора достижений, но состоит эта гора из плоскостей; мне, впрочем, всегда была по душе Варвара, пышная и веселая жена потрепанного философа. До первого приезда в "Сосны" в 1951 году ей ни разу не довелось видеть природу Новой Англии. Тутюшние березы и черника так ее заморочили, что в ее разумении Онкведское озеро расположилось на одной широте не с Охридским, скажем, озером на Балканах (самое для него место), но с Онежским, что на севере России, – там провела она первые свои пятнадцать летних сезонов, прежде чем бежать от большевиков в Западную Европу вместе с теткой, Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. В результате, колибри в пробном полете или катальпа в цвету произвели на Варвару впечатление неестественного и экзотического видения. Огромные дикобразы, приходившие грызть лакомые, душистые бревна старого дома, или грациозные, жутковатые скунсики, воровавшие на заднем дворе молоко у кошек, казались ей баснословнее картинок старинного бестиария. Ее чаровало и ставило в тупик множество растений и тварей, которых она не умела назвать, она принимала желтую пеночку за залетную канарейку и прославилась тем, что, задыхаясь от гордости и восторга, притащила однажды, чтобы украсить стол по случаю дня рождения Сюзан, охапку прекрасных листьев ядоносного сумаха, прижимая их к розовой, веснушчатой груди.

3

Болотовы и мадам Шполянская, маленькая, худощавая женщина в брюках, оказались первыми, кто увидел Пнина, когда он опасливо вывернул на обсаженную диким люпином песчаную аллею, и сидя очень прямо, окоченело вцепившись в руль, будто фермер, привычный более к трактору, чем к автомобилю, вкатился на скорости в десять миль и на

первой передаче в рощицу старых, взъерошенных, имеющих на удивление доподлинный вид сосен, что отделяла мощенную дорогу от "Замка Кука".

Варвара живо вскочила с лавки в беседке, где она и Роза Шполянская только что накрыли Болотова, читавшего затрепанную книгу и курившего запретную сигарету. Она приветствовала Пнина, хлопая в ладоши, а муж ее продемонстрировал все радушие, на какое был способен, медленно помахав книгой, в которую сунул взамен закладки большой палец. Пнин заглушил мотор и сидел, во весь рот улыбаясь друзьям. Ворот его зеленой спортивной рубашки был расстегнут, штормовка с приспущенной молнией казалась чрезмерно узкой для внушительной груди, бронзоватая лысая голова с наморщенным лбом и рельефной червеобразной веной на виске низко склонялась, пока он копался в дверце и выныривал из машины.

– Автомобиль, костюм, – ну прямо американец, прямо Эйзенхауэр! – сказала Варвара и представила Пнина Розе Абрамовне Шполянской.

– Сорок лет назад у нас с вами были общие друзья, – заметила эта дама, с любопытством разглядывая Пнина.

– Ох, давайте не упоминать таких астрономических цифр, сказал Болотов, подходя и заменяя травинкой служивший закладкой большой палец. – Знаете, – продолжал он, трясая руку Пнина, – в седьмой раз перечитываю "Анну Каренину", а удовольствие получаю такое же, какое испытывал не сорок, а шестьдесят лет назад – семилетним мальчишкой. И всякий раз открываешь что-то новое, вот сейчас, например, я заметил, что Лев Николаич не знает, в какой день начался его роман: вроде бы и в пятницу, поскольку в этот день часовщик приходит к Облонским заводить в доме часы, но также и в четверг, который упоминается в разговоре на катке между Левиным и матерью Китти.

– Да господи, что за разница, – вскричала Варвара. – Кому, скажите на милость, нужен точный день?

– Я могу вам назвать точный день, – сказал Пнин, перемигивая изломанный солнечный свет и вдыхая памятный запах северных сосен. – Действие романа завязывается в начале 1872 года, и именно в пятницу, двадцать третьего февраля по новому стилю. Облонский читает в утренней газете, что Бейст, как слышно, проехал в Висбаден. Это, разумеется, граф Фредерик Фердинанд фон Бейст, только что получивший пост австрийского посланника при Сент-Джеймском дворе. После представления верительных грамот Бейст уехал на континент и провел там со своей семьей несколько затянувшиеся рождественские каникулы – два месяца, а теперь возвращался в Лондон, где, согласно его собственным двухтомным мемуарам, шли приготовления к назначенному на двадцать седьмое февраля в соборе Святого Павла благодарственному молебну по случаю выздоровления принца Уэльсского от тифозной горячки. Однако, и жарко же у вас! Я, пожалуй, явлюсь пред пресветлые очи Александра Петровича, да схожу окупнуться в реку, которую он так живо мне описал.

– Александр Петрович уехал до понедельника – по делам или развлекаться, – сказала Варвара, – а Сусанна Карловна, по-моему,

загорает на любимой лужайке за домом. Только покричите, пока не подошли слишком близко.

4

"Замок Кука" представлял собой трехэтажный особняк, выстроенный из бревен и кирпича около 1860 года и частью перестроенный полвека спустя, когда отец Сюзан купил его у семейства Дадли-Грин, чтобы превратить в аристократический курортный отель для наиболее богатых посетителей целебных источников Онкведо. Это было затейливое строение смешанного покроя, в котором готика щетинилась сквозь пережитки флорентийского и французского стилей. При начальном проектировании оно, вероятно, относилось к той разновидности, которую Сэмюэль Слоун, архитектор тех времен, определял как "Неправильную Северную Виллу, отвечающую высшим запросам светской жизни", и называемую "северной" по причине "восходящей тенденции ее кровель и башен". Увы, недолго завлекали туристов шик этих шпилей и веселый, отчасти даже разгульный облик, приобретенный особняком оттого, что его составляли несколько "северных вилл" поменьше, поднятых на воздух и каким-то образом сколоченных воедино, так что недопереваренные куски кровель, неуверенные фронтоны, карнизы, неотесанные угловые камни и прочие выступы торчали во все стороны. К 1920 году воды Онкведо загадочным образом утратили все свое волшебство, и по смерти отца Сюзан тщетно пыталась продать "Сосны", поскольку у нее с мужем имелся иной дом, поудобнее, в богатом квартале того промышленного города, где муж работал. Впрочем, теперь, когда они привыкли использовать "Замок" для увеселения своих многочисленных друзей, Сюзан даже радовалась, что это любимое ею кроткое чудище не нашло покупателя.

Внутреннее разнообразие дома не уступало наружному. В просторный вестибюль, сохранивший в щедрых размерах камина нечто от гостиничного периода, открывались четыре большие комнаты. Лестничные перила и по крайности одна из балясин датировались 1720 годом, – их перенесли в строящийся дом из другого, гораздо более старого, самое местоположение коего ныне уже утратилось. Очень старыми были и прекрасные, украшенные изображениями дичи и рыб филенки стоящего в обеденной зале буфета. В полудюжине комнат, из которых состоял каждый верхний этаж, и в двух крыльях тыльной части здания среди разрозненных предметов обстановки обнаруживалось какое-нибудь обаятельное бюро атласного дерева или романтическая софа красного, но также и разного рода поделки, жалкие и громоздкие, – ломанные кресла, пыльные столы с мраморными столешницами, мрачные этажерки с темными стеклышками в задней стене, скорбными, словно глаза пожилых обезьян. Комната наверху, доставшаяся Пнину, не без приятности выглядела на юго-восток и вмещала: остатки золоченых обоев по стенам, армейскую койку, простой умывальник и всякие полки, бра и лепные завитки. Пнин, подергав, открыл створку окна, улыбнулся

улыбчивому лесу, снова вспомнил далекий первый день в деревне, – и скоро уже сошел вниз, облаченный в новый темно-синий купальный халат и пару обыкновенных резиновых галош на босу ногу – предосторожность вполне разумная, когда предстоит идти по сырой и, возможно, кишасей гадами траве. На садовой террасе он встретил Шато.

Константин Иванович Шато, тонкий и очаровательный ученый чисто русских кровей, несмотря на фамилию (полученную, как меня уверяли, от обруселого француза, который усыновил Ивана-сироту), преподавал в большом нью-йоркском университете и не виделся со своим дражайшим Пниным самое малое пять лет. Они обнялись, тепло урча от радости. Должен признаться, я и сам когда-то подпал под обаяние ангельского Константина Ивановича а именно, в ту пору, как мы ежедневно сходились зимой 35-го не то 36-го года для утренней прогулки под лаврами и цельтисами Грассе, что на юге Франции, (он делил там виллу с несколькими русскими экспатриантами). Мягкий голос его, рафинированный петербургский раскат его "р", спокойные глаза грустного карибу, рыжеватая козлиная бородка, которую он все теребил крошачьими движениями длинных, хрупких пальцев, – все в Шато (пользуясь литературным оборотом, столь же старомодным, как он сам) порождало у его друзей чувство редкой приятности. Несколько времени он и Пнин разговаривали, делясь впечатлениями. Как нередко случается с держащимися твердых принципов изгнанниками, они всякий раз, сызнова встречаясь после разлуки, не только стремились встать вровень с личным прошлым друг друга, но и, обмениваясь несколькими быстрыми паролками, – намеками, интонациями, которые невозможно передать на чужом языке, – подводили итог последним событиям русской истории: тридцати пяти годам беспросветной несправедливости, что последовали за столетием борьбы за справедливость и мерцающих вдали надежд. Затем они перешли к обычному профессиональному разговору преподавателей-европейцев, оказавшихся вне Европы: вздыхали и качали головами по адресу "типичного американского студента", который не знает географии, наделен иммунитетом к шуму и почитает образование всего лишь за средство для получения в дальнейшем хорошо оплачиваемой должности. После того, каждый осведомился у другого, как подвигается его работа, и каждый был до чрезвычайности скромнен и сдержан, касаясь своих занятий. Наконец, уже шагая обросшей канадским златотысячником луговой тропкой к лесу, через который пробегала по каменистому руслу речушка, они заговорили о здоровье: Шато, выглядевший столь беспечным с рукой в кармане белых фланелевых брюк и в щегольски распахнутом поверх фланелевого жилета люстриновом пиджаке, весело сообщил, что в скором будущем ему предстоит сложная полостная операция, а Пнин сказал, смеясь, что всякий раз, как он проходит рентген, доктора тщетно пытаются разобраться в том, что они именуют "тенью за сердцем".

– Хорошее название для плохого романа, – заметил Шато.

Перейдя муравчатый пригорок и почти уж войдя в лес, они заметили машисто шагавшего к ним по покатоному полю краснолицего, почтенного господина в легком полосатом костюме, с копной седых волос и с лиловатым припухлым носом, похожим на большую малинину; черты его искажала недовольная гримаса.

– Вот, приходится ворочаться за шляпой, – театрально вскричал он, приблизившись.

– Вы не знакомы? – промурлыкал Шато и вскинул руки в жесте представления. – Тимофей Павлыч Пнин, Иван Ильич Граминеев.

– Мое почтение, – сказали оба, крепко пожимая друг другу руки и кланяясь.

– Я думал, – продолжал Граминеев, обстоятельный повествователь, – что оно как с утра пошло, так и будет весь день хмурится. По глупости вылез с непокрытой головой. Теперь мне солнце выжигает мозги. Пришлось прервать работу.

И он указал на вершину холма. Там – тонким силуэтом на фоне синего неба – стоял его мольберт. С этого возвышения он писал вид лежащей за ним долины, дополненный причудливым старым амбаром, кривой яблонькой и буренкой.

– Могу предложить вам мою панаму, – сказал добрый Шато, но Пнин, уже достав из кармана халата большой красный носовой платок, сноровисто вязал узлы на каждом из четырех его уголков.

– Очаровательно... Премного благодарен, – сказал Граминеев, прилаживая этот головной убор.

– Одну минуту, – сказал Пнин. – Вы узлы подоткните.

Проделав это, Граминеев двинулся полем вверх, к своему мольберту. Он был известным, строго академического толка живописцем, чьи задушевные полотна – "Волга-матушка", "Неразлучная троица" (мальчик, собачка и кляча), "Апрельская прогалина" и тому подобные – по-прежнему украшали московский музей.

– Кто-то мне говорил, – сказал Шато, когда они с Пниным подходили к реке, – что у лизиного сына редкий дар к живописи. Это правда?

– Да, – ответил Пнин. – Тем более обидно, что его мать, которая, по-моему, вот-вот в третий раз выскочит замуж, вдруг на все лето забрала его в Калифорнию, – а если бы он приехал со мной сюда, как предполагалось, у него была бы великолепная возможность поучиться у Граминеева.

– Вы преувеличиваете ее великолепие, – мягко возразил Шато.

Они достигли пузырящегося, мерцающего потока. Вогнутая плита, уместившаяся меж двух водопадиков, верхнего с нижним, образовала естественный плавательный бассейн под соснами и ольхой. Не любитель купаться, Шато с удобством устроился на валуне. Во весь учебный год Пнин регулярно подставлял свое тело лучам солнечной лампы, поэтому когда он разделся до купальных трусов, оно засветилось под солнцем, пробивающимся сквозь приречные заросли, сочными оттенками красного дерева. Он снял крест и галоши.

– Взгляните, как мило, – сказал склонный к созерцательности Шато.

Десятка два мелких бабочек, все одного вида, сидели на влажном песке, приподняв и сложив крылья, так что виднелся их бледный испод в темных точках и крохотных павлиньих глазках с оранжевыми обводами, идущими вдоль кромки задних крыльев; одна из сброшенных Пниным галош вспугнула нескольких бабочек, и обнаружив небесную синеву лицевой стороны крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, и снова опали.

– Жаль, нет здесь Владимира Владимировича, – заметил Шато. – Он рассказал бы нам все об этих чарующих насекомых.

– Мне всегда казалось, что эта его энтомология – просто поза.

– О нет, – сказал Шато. – Когда-нибудь вы его потеряете, – добавил он, указывая на православный крест на золотой цепочке, снятый Пниным с шеи и повешенный на сучок. Его блеск озадачил пролетавшую стрекозу.

– Да я, может быть, и не прочь его потерять, – сказал Пнин. – Вы же знаете, я ношу его лишь по сентиментальным причинам. А сантименты становятся обременительны. В конце концов, в этой попытке удержать, прижимая к груди, частицу детства слишком много телесного.

– Вы не первый, кто сводит веру к осязанию, – сказал Шато; он был усердным приверженцем православия и сожалел об агностическом расположении друга.

Слепень, подслеповатый олух, уселся Пнину на лысину и был оглушен шлепком его мясистой ладони.

С валуна, меньшего, чем тот, на котором расположился Шато, Пнин осмотрительно сошел в коричневую и синюю воду. Он заметил, что на руке его остались часы, снял их и положил в галошу. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин тронулся вперед, петлистые тени листьев трепетали, скользя по его широкой спине. Он остановился и, разбивая блеск и тени вокруг, намочил склоненную голову, протер мокрыми ладонями шею, увлажнил каждую из подмышек и после, сложив ладоши, скользнул в воду. Гонимая благородными жестами стиля брасс, вода струилась по сторонам от него. Пнин торжественно плыл вдоль окаема естественного бассейна. Он плыл, издавая размеренный шум, – полужурчание, полупыхтение. Он мерно выбрасывал ноги, разводя их в коленях, одновременно складывая и распрямляя руки, похожий на большую лягушку. Проплавав так две минуты, он вылез из воды и присел на валун – пообсохнуть. Затем он надел крест, часы, галоши и халат.

Обед подавали на крытой веранде. Усевшись около Болотовых и распуская сметану в красной ботвинье, где тренькали красноватые кубики льда, Пнин машинально возобновил прежний разговор.

— Обратите внимание, — сказал он, — на значительное расхождение между духовным временем Левина и телесным — Вронского. К середине книги Левин и Китти отстают от Вронского с Анной на целый год. А к тому воскресному вечеру в мае 1876 года, когда Анна бросается под товарный поезд, она успевает прожить с начала романа больше четырех лет; для Левина за тот же период — с 1872-го по 1876-й — минуло едва ли три года. Это лучший пример относительности в литературе, какой мне известен.

Отобедав, предложили играть в крокет. Тут предпочитали расстановку ворот, освященную временем, но технически совершенно неправомочную, когда пару ворот из десяти перекрещивают в середине поля, образуя так называемую "клетку", или "мышеловку". Сразу выяснилось, что Пнин, игравший в паре с мадам Болотовой против Шполянского и графини Порошиной, как игрок превосходит всех остальных. Едва только вбили колышки и приступили к игре, как он преобразился. Из привычно медлительного, тяжеловесного и довольно скованного господина он превратился в страшно подвижного, скачущего, безгласого горбуна с хитрой физиономией. Казалось, постоянно была его очередь бить. Держа молоток очень низко над землей и чуть помахивая им между расставленных журавлиных ножек (он произвел небольшую сенсацию, переодевшись к игре в бермудские шорты), Пнин предварял каждый удар легкими прицельными качаниями, затем аккуратно тюкал по шару и тотчас, еще сгорбленный, пока шар катился, резво перебегал в то место, где, по его расчетам, шару предстояло остановиться. С геометрическим шиком он прогнал его через все ворота, исторгнув у болельщиков вопли восторга. Даже Игорь Порошин, словно тень проходивший мимо, неся две жестянки пива на какое-то приватное пиршество, на секунду привстал и одобрительно покивал головой, перед тем как согнуться в кустах. Впрочем, с рукоплесканиями смешивались жалобы и протесты, когда Пнин с жестоким безразличием крокетировал или, правильнее, ракетировал шар противника. Помещая вплотную к нему свой шар и утверждая на нем удивительно маленькую ступню, он с такой силой бил по своему, что чужой улетал с поля. Обратились к Сюзан и она сказала, что это полностью против правил, но мадам Шполянская заверила всех, что прием этот вполне законен, добавив в подтверждение, что, когда она была маленькой, ее английская гувернантка называла его "Гонконгом".

После того, как Пнин коснулся столба, и игра завершилась, и Варвара ушла с Сюзан накрывать стол к вечернему чаю, Пнин тихо ретировался на скамейку под соснами. Какое-то до крайности неприятное и пугающее ощущение в сердце, испытанное им лишь несколько раз во всю его взрослую жизнь, вновь посетило его. Не боль, не перебои, но довольно жуткое чувство утопания в окружающем мире и растворения в нем — в закате, в красных древесных стволах, в песке, в тихом воздухе. Между тем, Роза Шполянская, заметив, что Пнин сидит в одиночестве и воспользовавшись этим, подошла к нему ("сидите, сидите!") и опустилась рядышком на скамью.

– Году в 16-м или в 17-м, – сказала она, – вы должны были слышать мою девичью фамилию, Геллер, – от одних ваших близких друзей.

– Нет, не припомню, – сказал Пнин.

– Да это в общем-то и не важно. Не думаю, чтобы мы когда-то встречались. А вот моих кузенов, Гришу и Миру Белочкиных, вы знали хорошо. Они все время о вас рассказывали. Он теперь живет в Швейцарии, по-моему, – и вы слышали, конечно, об ужасном конце его бедной сестры...

– Да, конечно, – сказал Пнин.

– Ее муж, – сказала мадам Шполянская, – был милейший человек, мы с Самуил Львовичем очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Нацисты интернировали его отдельно от Миры, он погиб в том же лагере, что и мой старший брат, Миша. Вы не знали Мишу, нет? Он тоже был когда-то влюблен в Миру.

– Тшай готофф, – позвала с веранды Сюзан на своем забавном чисто-практическом русском. – Тимофей, Розочка! Тшай!

Пнин сказал мадам Шполянской, что через минуту придет, но остался после ее ухода сидеть в темнеющей аллее, сложив ладони на молотке, который он все еще держал.

Две керосиновых лампы уютно освещали дачную веранду. Доктор Павел Антонович Пнин, отец Тимофея, глазной специалист, и доктор Яков Григорьевич Белочкин, отец Миры, педиатр, никак не могли оторваться от шахмат в углу веранды, так что госпожа Белочкина попросила горничную отнести им чай – стаканы в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и ее культурную разновидность, клубнику, и лучистые золотые варенья, и бисквиты, и вафли, и крендельки, и сухарики – туда, на особый японский столик, близ которого они играли, чтобы не звать двух поглощенных игрой докторов на другой конец веранды, к общему столу, за которым сидели остальные члены семьи и гости – кто ясно различимый, кто потонувший в лучезарном тумане.

Незрячая рука доктора Белочкина взяла кренделек; зрячая рука доктора Пнина взяла ладью. Доктор Белочкин хрустнул крендельком и уставился на прореху в рядах своих фигур; доктор Пнин макнул умозрительный сухарик в чайный стакан.

Сельский дом, тем летом нанятый Белочкиными, находился на том же балтийском курорте, вблизи которого сдавала Пниным дачу вдова генерала Н., – дача стояла на границе ее обширных владений, заболоченных и неровных, с запущенной усадьбой в бахrome темных лесов. Тимофей Пнин был снова неловким, застенчивым и упрямым восемнадцатилетним юношей, ожидающим в сумерках Миру, – и хотя рассудочное мышление ввернуло в керосиновые лампы по электрической колбе, перетасовало людей, обратив их в стареющих эмигрантов, и прочно, безнадежно, навеки обнесло светящуюся веранду проволоочной

сетью, мой бедный Пнин с галлюцинаторной отчетливостью увидел Миру, с веранды скользнувшую в сад и шедшую к нему меж высоких душистых цветков табака, чья смутная белизна сливалась с белизной ее платья. Видение как-то связывалось с ощущением распирания и взбухания в груди. Он осторожно отложил молоток и, чтобы избыть эту муку, пошел прочь от дома по примолкшей сосновой роще. Из стоящей у сторожки с садовыми инструментами машины, в которой укрылись по крайности двое гостей детей, исходил устойчивый стрекот радиомузыки.

— Джаз, джаз, жить они не могут без джаза, эти дети, проворчал про себя Пнин и свернул на тропинку, ведущую в лес и к реке. Он вспомнил увлечения своей и Мириной юности – любительские спектакли, цыганские песни, ее страсть к фотографии. Где они ныне – художественные снимки, которые она делала постоянно: щенята, облака, цветы, апрельская прогалина с тенями берез на влажном сахаристом снегу, солдаты, позирующие на крыше товарного вагона, край закатного неба, рука, держащая книгу? Он вспомнил их последнюю встречу на набережной Невы в Петрограде и слезы, и звезды, и тепло шелковой красной, как роза, изнанки ее каракулевой муфты. Гражданская война (1918–1922) разлучила их: история разорвала их помолвку. Тимофей отправился на юг, чтобы ненадолго примкнуть к деникинской армии, а семья Миры бежала от большевиков в Швецию, потом осела в Германии, и там Мира со временем вышла замуж за русского торговца пушниной. В самом начале тридцатых Пнин, к тому времени уже женившийся, приехал с женою в Берлин, где она хотела побывать на в конгрессе психотерапевтов, и как-то вечером в русском ресторане на Курфюстендамм снова встретился с Мирой. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему памятной улыбкой – из-под темных бровей – с присущим ей выражением застенчивого лукавства, и обвод ее приподнятых скул, удлинённые глаза, нежность кистей и щиколоток остались все теми, остались бессмертными, – а потом она присоединилась к мужу, надевавшему в гардеробе пальто, и вот и все, уцелела лишь замирающая нежность, родственная дрожащему очерку стихов, которые знаешь, что знаешь, но припомнить не можешь.

То, о чем помянула разговорчивая мадам Шполянская, вернуло образ Миры с необычайной силой, и это встревожило Пнина. Лишь в отчуждении неизлечимой болезни, в равновесии разума, знаменующем близкую смерть, с этим можно было на миг совладать. Чтобы жить, сохраняя рассудок, Пнин в последние десять лет приучил себя никогда не вспоминать о Мире Белочкиной, – и не потому, что память о юношеской любви, банальной и краткой, сама по себе угрожала миру его души (увы, воспоминания о браке с Лизой были достаточно властными, чтобы вытеснить какой угодно прежний роман), но потому, что никакая совесть и, следовательно, никакое сознание не в состоянии уцелеть в мире, где возможны такие вещи, как смерть Миры. Приходится забывать, – ведь нельзя же жить с мыслью о том, что эту грациозную, хрупкую молодую женщину с такими глазами, с такой улыбкой, с такими садами и снегами в прошлом, привезли в скотском вагоне в лагерь уничтожения и умертвили инъекцией фенола в сердце, в нежное сердце, которое билось в сумерках прошлого под твоими губами. И поскольку точных характер ее смерти зарегистрирован не был, в его сознании Мира умирала множеством смертей и множество раз воскресала лишь для того, чтобы умирать снова и снова: вышколенная медицинская сестра уводила ее, и

хрустело стекло, и ей прививали какую-то пакость, столбнячную сыворотку, и травили синильной кислотой под фальшивым душем, и сжигали заживо в яме, на политых бензином буковых дровах. По словам следователя, с которым Пнину довелось разговаривать в Вашингтоне, только одно можно было сказать наверное: слишком слабую чтобы работать (хотя еще улыбающуюся и находившую силы помогать другим еврейкам), ее отобрали для умерщвления и сожгли всего через несколько дней после прибытия в Бухенвальд, в прекрасные леса Большого Эттерсберга, как звучно звался этот край. Это – час неспешной прогулки от Веймара, здесь бродили Гете, Гердер, Шиллер, Виланд, неподражаемый Коцебу и иные. "Aber warum" – ну почему, – стенал доктор Гаген, нежнейшая из душ живых, – почему им нужно было устроить этот кошмарный лагерь так близко!" ибо и впрямь он был близок (каких-то пять миль) к культурному сердцу Германии, "этой нации университетов", как изысканно выразился президент вайнделлского колледжа, известный своим пристрастием к mot juste[56], делая по случаю Дня Благодарения обзор европейской ситуации, в котором он не пожалел теплых слов и для другого пыточного застенка – для "России, страны Толстого, Станиславского, Раскольникова и других великих и достойных людей".

Пнин медленно шел под торжественными соснами. Небо угасало. Он не верил во всевластного Бога. Он верил, довольно смутно, в демократию духов. Может быть, души умерших собираются в комитеты и, неустанно в них заседаая, решают участь живых.

Начинали досаждают комары. Время чая. Время шахмат с Шато. Станный спазм миновал, он снова мог дышать. На дальнем гребне холма, на том самом месте, где несколько часов назад стоял мольберт Граминеева, две темные профильные фигуры рисовались на фоне угольно-красного неба. Они стояли близко, лицом к лицу. С тропинки было не разобрать – дочь ли это Порошина с ее ухажером, Нина ли Болотова и молодой Порошин или просто эмблематическая пара, с легким изяществом помещенная на последней странице уходящего от Пнина дня.

Глава шестая

1

Начался осенний семестр 1954 года. Снова на мраморной шее затрапезной Венеры в вестибюле Дома Гуманитарных Наук появился изображающий поцелуй вермилионовый след губной помады. Снова "Вайнделлский Летописец" принялся обсуждать Проблему Парковки. Вновь принялись ретивые первокурсники выписывать на поля библиотечных книг полезные примечания вроде "описание природы" или "ирония", а в прелестном издании стихов Малларме какой-то особенно вдумчивый

толкователь уже подчеркнул фиолетовыми чернилами трудное слово oïseaux и нацарапал поверху "птицы". Снова осенние ветра облепили палой листвой бок решетчатой галереи, ведущей от Гуманитарных Наук к Фриз-Холлу. Снова тихими вечерами запорхали над лужайками и асфальтом огромные янтарно-бурые данаиды, лениво дрейфуя к югу, свесив под крапчатыми телами не до конца поджатые сяжки.

Колледж скрипел себе помаленьку. Усидчивые, обремененные беременными женами аспиранты все писали диссертации о Достоевском и Симоне де Бовуар. Литературные кафедры трудились, оставаясь под впечатлением, что Стендаль, Галсворти, Драйзер и Манн – большие писатели. Пластмассовые слова вроде "конфликта" и "образа" пребывали еще в чести. Как обычно, бесплодные преподаватели с успехом пытались "творить", рецензируя книги своих более плодovitых коллег, и как обычно, множество везучих сотрудников колледжа наслаждалось или приготавливалось насладиться разного рода субсидиями, полученными в первую половину года. Так, смехотворно мизерная дотация предоставляла разносторонней чете Старров с Отделения изящных искусств – Кристоферу Старру с его младенческим личиком и его малютке-жене Луизе – уникальную возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти удивительные молодые люди неведомо как получили разрешение проникнуть. Тристрам В. Томас ("Том" для друзей), профессор антропологии, получил от фонда Мандовилля десять тысяч долларов на изучение привычного рациона кубинских рыбаков и пальмолазов. Другое благотворительное заведение пришло на помощь Бодо фон Фальтернфельсу, позволив ему завершить, наконец, составление "библиографии печатных и рукописных материалов последних лет, посвященных критическому осмыслению влияния учеников Ницше на современную мысль". И последнее, но отнюдь не самое малое: некий особо расщедлившийся фонд обеспечил знаменитому вайнделльскому психиатру Рудольфу Ауре, возможность применить к десяти тысячам школьников так называемый "Тест пальца и чашки", в котором дитя окунало указательный палец в чашки с цветными жидкостями, после чего измерялись и наносились на разного рода увлекательные диаграммы соотношения между длиной пальца и его увлажненной частью.

Начался осенний семестр, и доктор Гаген оказался в весьма затруднительном положении. Летом один из старых друзей неофициально осведомился у него, не поразмыслит ли Гаген о том, чтобы со следующего года взять на себя с упоительной щедростью оплачиваемое профессорство в Сиборде – университете, куда более солидном, нежели Вайнделл. Эта часть проблемы решалась относительно просто. Оставался, однако, еще тот леденящий душу факт, что Отделение, которое он столь любовно взрастил, и с которым Французское отделение Блоренджа с его куда более богатыми фондами не могло и сравниться по уровню воздействия на культуру, – это Отделение придется оставить в лапах предателя Фальтернфельса, которого он, Гаген, выкопал в Австрии и который обратился теперь против него же, исхитрившись посредством закулисных интриг просто-напросто захватить руководство влиятельным ежеквартальником "Eupora Nova" [57], основанным Гагеном в 1945 году. Предполагаемый уход Гагена, о котором он ничего покамест своим коллегам не сообщал, имел бы и более грустные последствия: приходилось бросить на произвол судьбы внештатного профессора Пнина. Постоянного русского отделения в Вайнделле не было, и все

академическое существование моего бедного друга зависело от использования его эклектическим Отделением германистики в своего рода "сравнительно-литературном" побеге одной из его ветвей. Бодо – из чистой злобы, – этот побег, разумеется, отсечет, и Пнин, не имевший с Вайнделлом постоянного контракта, вынужден будет подать в отставку, – разве что его согласится принять какое-то иное литературно-языковое отделение. Необходимой для этого гибкостью обладали лишь два из них – английское и французское. Однако Джек Кокерелл, заведующий английским, с неодобрением относился ко всему, что делал Гаген, считал Пнина посмешищем и, собственно говоря, неофициально, но обнадеживающе торговался с выдающимся англо-русским писателем, способным при необходимости взять на себя преподавание всех тех курсов, которые Пнину приходилось читать, чтобы выжить. Как к последнему прибежищу, Гаген обратился к Блоренджу.

2

Две интересные особенности отличали Леонарда Блоренджа, заведующего Отделением французского языка и литературы: он не любил литературу и не знал французского языка. Последнее не мешало ему покрывать гигантские расстояния ради участия в совещаниях по проблемам современного языкознания, на которых он щеголял своим невежеством, словно некой величавой причудой, и с помощью мощных залпов здорового масонского юмора, отражал любую попытку втянуть его в обсуждение тонкостей "парле-ву". Высоко ценимый добытчик средств, он совсем недавно склонил одного богатого старца, которого безуспешно обхаживали три крупных университета, содействовать посредством фантастических размеров пожертвования продвижению расточительных изысканий, проводимых аспирантами доктора Славского, родом канадца, и имевших целью возвести на холме рядом с Вайнделлом "Французскую Деревню" (две улочки и площадь), которую предстояло скопировать с древнего городка Ванделя в Дордони. Несмотря на элемент грандиозности, всегда присущий административным фейерверкам Блоренджа, сам он был человеком аскетических вкусов. В свое время ему привелось учиться в одной школе с Сэмом Пуром, президентом Вайнделлского университета, и в течение многих лет, даже после того, как последний лишился зрения, эти двое рыбачили вместе на холодном, перерытом ветрами озере, лежавшем в конце обросшей кипреем гравиевой дороги, в семидесяти милях к северу от Вайнделла на засоренной кустарником (карликовый дуб и питомниковые сосны) равнине, являющей на языке Природы синоним трущобы. Его жена, милая женщина из простых, говоря о нем у себя в клубе, называла его "профессор Блорендж". Он читал курс под названием "Великие французы", – заставив свою секретаршу скопировать этот курс из подшивки "Гастингсова Исторического и Философского Журнала" за 1862–1894 годы, найденной Блоренджем на чердаке и в библиотеке колледжа не представленной.

3

Пнин как раз снял маленький домик и пригласил Гагенов и Клементсов, – и Тейеров, и Бетти Блосс – на новоселье. Утром этого дня добрый доктор Гаген явился с визитом отчаяния в кабинет Блоренджа и посвятил его, и только его одного, в ситуацию в целом. Когда он сказал Блоренджу, что Фальтернфельс – отъявленный антипнинист, – Блорендж сухо отвечал, что и он тоже; фактически, однажды встретив Пнина в обществе, он "определенно почувствовал" (удивительно, правду сказать, до чего эти практические господа склонны чувствовать вместо того, чтобы думать), что Пнина не следовало бы и близко подпускать к американскому университету. Верный Гаген отметил, что Пнин на протяжении нескольких семестров прекрасно справлялся с Романтиками, и что он – под присмотром французской кафедры – наверняка одолел бы и Шатобриана с Виктором Гюго.

– Этой публикой занимается доктор Славский, – сказал Блорендж, – вообще, я иногда думаю, что мы переборщили по части литературы. Вот посмотрите, на этой неделе мисс Мопсуэстия начинает экзистенциалистов, этот ваш Бодо дает Ромена Роллана, а я читаю о генерале Буланже и о де Беранже. Нет, этого добра у нас определенно хватает.

Гаген выложил последнюю карту, предположив, что Пнин мог бы вести курс французского языка: как у многих русских, у нашего друга имелась в детстве француженка-гувернантка, а после революции он прожил в Париже больше пятнадцати лет.

– Вы хотите сказать, – сурово спросил Блорендж, – что он умеет говорить по-французски?

Гаген, хорошо осведомленный об особых требованиях Блоренджа, замялся.

– Ну, Герман, бросьте! Да или нет?

– Я уверен, что он сможет приспособиться.

– Так говорит он по-ихнему или нет?

– Ну, в общем, да.

– В таком случае, – сказал Блорендж, – мы не сможем использовать его в начальном курсе. Это было бы нечестно по отношению к нашему мистеру Смигу, – он ведет его в этом семестре, и естественно, обходится тем, что на один урок опережает студентов. Теперь, значит, так, – мистеру Хашимото нужен помощник в его переполненной промежуточной группе. А читает этот ваш деятель по-французски не хуже, чем разговаривает?

– Я повторяю, он сможет приспособиться, – увиливая от прямого ответа, сказал Гаген.

– Знаю я эти "приспособиться", – хмуро сказал Блорендж. В 50-м, когда Хаш уехал, я нанял лыжного инструктора из Швейцарии, а он

возьми и протащи сюда копии какой-то старой французской антологии. Мы целый год потратили, чтобы вернуть класс к начальному уровню. Так вот, если этот ваш, как его там, по-французски не читает...

– Боюсь, что читает, – со вздохом сказал Гаген.

– Ну, так у нас ему вообще нечего делать. Вы же знаете, мы верим только в записи речи и в прочую механику. И никаких книг!

– Но есть еще курс повышенной сложности, – пробормотал Гаген.

– Им занимаемся мы с Каролиной Славской, – ответил Блорендж.

4

Для Пнина, ничего не ведавшего о печалях своего покровителя, новый осенний семестр начался очень удачно: у него никогда еще не было ни столь малого числа студентов на попечении, ни столь большого количества времени для собственных изысканий. Изыскания эти давно уже вошли в ту чудесную стадию, когда они достигают поставленной прежде цели и уходят дальше, и формируется новый организм, так сказать, паразитирующий на созревающем плоде. Пнин отвращал умственный взор от конца работы, который был виден настолько ясно, что различалась даже звездчатая шутиха, воспламененное "sic!" [58]. Этого берега следовало избегать, как места, губительного для восторгов бесконечного приближения. Справочные карточки постепенно плотной массой утяжеляли обувную коробку. Сопоставление двух преданий; драгоценные частности нравов или нарядов; ссылка, проверенная и оказавшаяся извращенной неведением, небрежностью или обманом; дрожь в хребте от счастливой догадки; все эти бесчисленные триумфы бескорыстной учености растлили Пнина, обратив его в упоенного, опоенного сносками маниака, что возмущает покой книжных клещей, мирно живущих в унылом томе в фут толщиной, единственно для того, чтобы сыскать в нем ссылку на том, еще пуще унылый. А на ином, более человеческом уровне, помещался кирпичный домик, снятый им на Тодд-роуд, угол Клифф-авеню.

Прежде этот дом населяло семейство покойного Мартина Шеппарда, дядюшки предыдущего домохозяина Пнина на Крик-стрит, в течение многих лет управлявшего землями Тодда, которые город Вайнделл ныне скупил, дабы оборудовать в стоящей на них разбросанной усадьбе современную лечебницу. Ели и плющ укутали запертые ворота усадьбы, верхушку которых Пнин мог видеть в конце Клифф-авеню из северного окна своего нового дома. Авеню составляла поперечину буквы "Т", в левой развилке которой и обитал Пнин. Насупротив его фронтона прямо через Тодд-роуд (образовавшей ножку "Т") старые ильмы отгораживали песчаную закраину ее латанного асфальта от кукурузного поля, лежащего к востоку, а вдоль западной обочины, за изгородью, подразделение молодых елей, одинаковых выскочек, маршировало к кампусу, немного не доходя до следующего дома – отстоящего почти на полмили к югу от дома Пнина увеличенного сигарного ящика, в котором жил тренер университетской футбольной команды.

Ощущение жизни в отдельном доме и притом совершенно самостоятельной было для Пнина чем-то необычайно упоительным и поразительно утешающим старую, усталую потребность его сокровенного "я", забитую и оглушенную почти тридцатью пятью годами бездомья. Одной из самых сладостных особенностей жилища была тишина – ангельская, деревенская, совершенно безмятежная, являющая, стало быть, благодатный контраст непрестанной какофонии, с шести сторон окружавшей его в наемных комнатах прежних пристанищ. И как просторен казался маленький дом! С благодарным изумлением Пнин думал, что не будь революции, бегства из России, экспатриации во Францию, натурализации в Америке, все – и это в лучшем случае, в лучшем, Тимофей! – все могло бы сложиться почти что так же: профессорство в Харькове или в Казани, такой же домик в предместье, старые книги внутри, запоздалые цветы снаружи. Дом, чтобы быть совсем уже точным, был двухэтажный, из вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и драночной кровлей. Зеленый лужок, посреди которого он стоял, образовал перед ним палисадник аршин в пятьдесят шириной, а за домом граничил с отвесным мшистым утесом, увенчанным изжелта-бурой порослью. Вдоль южной стороны дома рудиментарная подъездная дорожка вела к беленому гаражу, где разместился принадлежащий Пнину автомобиль "для бедных". Странная сетчатая корзинка, чем-то смахивающая на увеличенную бильярдную лузу – только без дна, – висела неизвестно зачем над дверью гаража, на белизну которой она отбрасывала тень, столь же ясно очерченную, как ее собственное плетение, но покрупнее и в голубых тонах. Травянистую площадку между садиком и утесом навещали фазаны. Сирень – краса русских садов, – чье весеннее великолепие, в меду и гудении, с нетерпением предвкушал мой бедный друг, безжизненно теснилась вдоль одной из стен дома. И высокое листопадное дерево, которое Пнин (береза-липа-ива-тополь-дуб-осина) не умел обозначить, роняло большие, сердцевидные ржавые листья и тени бабьего лета на деревянные ступени открытого крыльца.

Расхлябанного вида нефтяная подвальная печь старалась что было сил, слабо выдыхая тепло через отдушины в полах. Кухня глядела нарядно и весело, и Пнин чудесно проводил время, возясь со всякого рода кухонной утварью – с кастрюлями и противнями, с тостерами и сковородками, доставшимися ему вместе с домом. Мебель в гостиной стояла скудная, выцветшая, зато там имелась довольно милая ниша с огромным старым глобусом, на котором Россия была голубой, а Польшу частью обесцветили, а частью соскребли. В крохотной столовой, где Пнин намеревался устроить для гостей ужин "а-ля фуршет", пара хрустальных шандалов с подвесками разбрасывала по утрам радужные переливы, очаровательно тлевшие на буфете, напоминая моему сентиментальному другу о витражных переплетах, что окрашивали солнечный свет в оранжевые, зеленые и фиолетовые тона на русских дачных верандах. Посудный шкаф, принимавшийся погромыхивать всякий раз, что Пнин проходил мимо, тоже был знаком ему по тусклым задним комнатам прошлого. Второй этаж состоял из двух спален, в обеих обитало когда-то множество малых детей и от случая к случаю – взрослых. Полы оказались изодраны оловянными игрушками. Со стены комнаты, в которой Пнин решил почивать, он снял красный картонный выпел с загадочным словом "Кардиналы", намалеванным по нему белой краской, но маленькому красному креслу-качалке для трехлетнего

Пнинчика дозволено было остаться в углу. Недееспособная швейная машина загораживала коридор, ведущий в ванную комнату; стоявшая там всегдашняя куца ванна из тех, что производит для карликов нация великанов, требовала для ее заполнения такого же долгого времени, как арифметические цистерны и бассейны русских задачников.

Теперь он мог устроить прием. В гостиной имелась софа, на которой уместятся трое, имелась там также чета покойных кресел, кресло глубокое, набитое слишком туго, кресло с камышовым сиденьем, один пуфик и скамеечки под ноги. Просматривая короткий список гостей, он вдруг ощутил странную неудовлетворенность. В списке была крепость, но недоставало букета. Конечно, он очень привязан к Клементсам (настоящие люди – не истуканы, коих в кампусе большинство), с которыми он вел такие восхитительные беседы в те дни, когда снимал у них комнату; конечно, он испытывал огромную благодарность к Герману Гагену за массу добрых услуг, взять хоть прибавку, устроенную им совсем недавно; конечно, миссис Гаген была, как выражались в Вайнделле, "милейшей особой"; конечно, миссис Тейер всегда помогала ему в библиотеке, а муж ее обладал утешительной способностью демонстрировать, насколько немногословным может быть человек, если он безусловно избегает говорить о погоде. Однако в этом подборе людей не хватало чего-то необычайного, оригинального, и старый Пнин вспомнил о днях рождения своего детства – о полудюжине приглашенных детей, всегда почему-то одних и тех же, о тесных туфлях, ноющих висках, тяжкой, вязкой, безотрадной скуке, которая нападала на него после того, как было уже переиграно во все игры, и буйный двоюродный братец принимался третировать красивые новые игрушки самым дурацким и пошлым образом; он вспомнил и об одиноком гуде в ушах, когда во время предлинной игры в прятки, битый час просидев в неудобном укрытии, он вылез из душного и темного шкапа в комнате прислуги только затем, чтобы узнать, что все игроки давно разошлись по домам.

Навещая популярную бакалейную лавку, расположенную между Вайнделлом и Изолой, он столкнулся с Бетти Блисс, пригласил и ее, и она сказала, что все еще помнит стихотворение в прозе о розах Тургенева с его рефреном "как хороши, как свежи" и, конечно, с радостью придет. Он пригласил знаменитого математика профессора Идельсона с женой-скульпторшей, и они ответили, что придут с удовольствием, но потом позвонили, чтобы сказать, что им страшно жаль, – они позабыли о более раннем приглашении. Он пригласил молодого Миллера, уже доцента, и Шарлотту, его хорошенькую веснушчатую жену, но выяснилось, что ей вот-вот предстояло родить. Он пригласил старика Кэррола, начальствующего над уборщиками Фриз-Холла, и его сына Фрэнка, который был единственным одаренным студентом моего друга и написал блестящую докторскую работу о соотношениях русских, английских и немецких ямбов; но Фрэнк оказался в армии, а старик Кэррол признался, что "мы с хозяйкой не очень водимся с профи". Пнин позвонил президенту Пуру, с которым однажды беседовал во время приема в саду (пока не пошел дождь) об усовершенствовании учебного плана, – и попросил его прийти, однако племянница президента ответила на приглашение, что дядя "никого теперь не навещает, за исключением нескольких близких друзей". Пнин уже было отказался от надежд оживить список гостей, как вдруг совершенно новая и действительно превосходная мысль пришла ему в голову.

Мы с Пниным давно уже примирились с тем пугающим, но редко обсуждаемым обстоятельством, что в штате любого наугад взятого колледжа всякий может найти не только человека, чрезвычайно похожего на своего дантиста или на местного почтмейстера, но также и человека, имеющего двойника в своей собственной профессиональной среде. Что говорить, мне известен случай существования тройников в относительно скромном университете, причем, если верить его востроглазому президенту, Фрэнку Риду, коренным в этой тройке был, как ни парадоксально, я сам; я помню еще, как покойная Ольга Кроткая рассказывала мне однажды, что среди пятидесяти, примерно, преподавателей "Школы интенсивного изучения языка" военного времени, в которой этой несчастливой, лишенной одного легкого даме довелось преподавать беловежский и угро-финский, наличествовало ни много ни мало как шесть Пниных, помимо подлинного и на мой взгляд неподдельного образца. Не следует поэтому полагать удивительным, что даже Пнин, человек в обыденной жизни не очень приметливый, обнаружил-таки (на девятый, примерно, год пребывания в Вайнделле), что долговязый старикан в очках, с академическими стальными кудерками, спадающими на правую сторону его узкого, но сморщенного чела, и с глубокими бороздами, нисходящими по бокам острого носа к углам длинной верхней губы, человек, которого Пнин знал как профессора Томаса Уинна, заведующего кафедрой орнитологии, и с которым он даже разговаривал на какой-то вечеринке о веселых золотистых иволгах, унылых кукушках и иных лесных русских птицах, – что не всегда этот человек оставался профессором Уинном. Временами он, так сказать, обращался в кого-то другого, кого Пнин по имени не знал, но классифицировал с веселостью склонного к каламбурам иностранца как "Туинна" (или по-пнински "Твина"). Мой друг и соотечественник скоро сообразил, что никогда уже не сможет быть уверенным, действительно ли похожий на филина, споро шагающий господин, который через день на другой попадался ему на пути в самых разных местах, – между кабинетом и классом, между классом и лестницей, между питьевым фонтанчиком и уборной, – действительно ли он является его случайным знакомым, орнитологом, с коим он почитал за долг раскланиваться на ходу, или это Уиннообразный чужак, откликающийся на его сдержанное приветствие с тою же механической вежливостью, с какой сделал бы это всякий случайный знакомец. Сами встречи были очень короткими, поскольку и Пнин, и Уинн (или Туинн) шагали споро; а иногда Пнин, дабы избежать обмена учтивым рявканьем, притворялся, будто читает на ходу письмо, или ухитрялся надуть быстро надвигавшегося коллегу и мучителя, увильнув по лестнице и двигаясь дальше по коридору нижнего этажа; впрочем, он не успел и дня порадоваться своей изобретательности, уже назавтра едва не налетев на Твина (или Вина), топающего нижним коридором. Когда же начался новый осенний семестр (для Пнина десятый), доука усугубилась тем, что часы занятий Пнина изменились, обесмыслив тем самым некоторые пути, которыми он привык передвигаться, пытаясь избежать и Уинна, и его подражателя. Казалось, Пнин обречен терпеть их вовек. Ибо, припомнив еще кой-какие дубликаты, попадавшиеся ему в

прошлом, – обескураживающие сходства, заметные только ему одному, – раздосадованный Пнин сказал себе, что просить кого-либо помочь разобраться в Т. Уиннах бесполезно.

В день его праздника, в ту минуту, когда он заканчивал поздний завтрак в Фриз-Холле, Уинн или его двойник – ни тот, ни другой никогда прежде здесь не появлялись, – вдруг присел рядом с ним и сказал:

– Давно хочу спросить вас кое о чем, – вы ведь преподаете русский, не правда ли? Прошлым летом я читал в журнале статью о птицах

("Вин! Это Вин!" – сказал себе Пнин и понял, что нужно идти напролом.)

– ... так вот, автор статьи, – не помню, как его имя, по-моему, русское, – упоминает, что в Скоффской губернии, надеюсь, я правильно это выговорил, местный хлеб выпекают в форме птицы. Символ в основе своей, конечно, фаллический, но я подумал, может, вам что-нибудь известно об этом обычае?

Вот тут-то блестящая мысль и озарила Пнина.

– Я к вашим услугам, сударь, – сказал он с нотой восторга, дрогнувшей в горле, ибо он наконец-то узрел способ наверняка прояснить персону хотя бы исконного Уинна, любителя птиц. Да, сударь, я знаю все об этих "жаворонках", или "allouettes", об этих... английское название нам придется поискать в словаре. А потому я пользуюсь случаем и сердечно приглашаю вас посетить меня нынче вечером. В половине девятого, *post meridiem*[59]. Небольшая *soiree*[60] по случаю новоселья, ничего более. Приводите также и вашу супругу, – или вы принадлежите к Ордену Холостяков, – так сказать, к валетам виной?

(О, многосмысленный Пнин!)

Его собеседник сказал, что он не женат. Он будет рад прийти. А по какому адресу?

– Тодд-родд, девятьсот девяносто девять, очень просто! В самом конце дороги (rodd), там, где она встречается с Клиф-авню. Маленький кирпичный домик и большой черный утес (cleef).

6

В тот вечер Пнин с трудом дотерпел до начала кулинарных занятий. Он приступил к ним сразу после пяти и прервался лишь для того, чтобы облачиться к приему гостей в сибаритскую домашнюю куртку из синего шелка, с кистями и атласными отворотами, выигранную им на эмигрантском благотворительном базаре в Париже лет двадцать назад, – как время-то летит! К ней он выбрал старые брюки от смокинга – столь же европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале

аптечного шкафчика, он надел тяжелые черепаховые очки для чтения, из-под хомутика которых ладно выпирал его русский нос картошкой. Он осклабил искусственные зубы. Он обозрел щеки и подбородок, дабы убедиться, сохранило ли силу утреннее бритье. Сохранило. Большим и указательным пальцами он изловил торчавший из носа длинный волосок, выдернул его со второго рывка и смачно чихнул, завершив взрыв довольным "ах!".

В половине восьмого явилась, чтобы помочь в последних приготовлениях, Бетти. Бетти теперь преподавала историю и английский язык в средней школе Изола. Она не изменилась с тех дней, как была полногрудой аспиранткой. Близорукие, серые, в розовых ободках глаза тарачились на вас с той же неподдельной симпатией. Те же густые волосы гретхеновским кольцом лежали вокруг головы. Тот же шрам виднелся на мягком горле. Однако на пухлой руке появилось обручальное колечко с брильянтиком, и она с застенчивой гордостью показала его Пнину, ощутившему укол смутной печали. Он подумал, что было время, когда он мог бы приударить за ней, – да, собственно, и приударил бы, не будь она наделена разумом горничной, который также не претерпел изменений. Она по-прежнему могла рассказывать предлинную историю, имеющую основой "она говорит – а я говорю – а она говорит". Ничто в целом свете не могло разуверить ее в мудрости и остроумии любимого дамского журнала. Она сохранила привычку, свойственную, как свидетельствовал ограниченный опыт Пнина, еще двум-трем молодым провинциалкам, – застенчиво хлопать вас по рукаву (скорее из благодарности, чем в отместку) при любом замечании, напоминающем о каком-либо ее незначительном промахе: "Бетти, вы забыли вернуть книгу" или "Бетти, по-моему, вы говорили, что никогда не пойдете замуж", – и перед тем, как ответить, она протестующе тянулась к вашему запястью, отнимая руку перед самым касанием.

– Он биохимик и теперь в Питтсбурге, – рассказывала Бетти, помогая Пнину укладывать намазанные маслом ломти французской булки вокруг горшочка со свежей, лоснящейся серой икрой и прополаскивать три огромные виноградные грозди. Имелись также: большое блюдо холодной вырезки, настоящий немецкий rumpersnickel[61] и тарелка весьма особенного винегрета (где креветки якшались с пикулями и горошком), и сосисочки в томатном соусе, и горячие пирожки (с грибами, с мясом, с капустой), и орехи четырех видов и разные занятные восточные сладости. Напитки представляли: бутылка виски (вклад Бетти), рябиновка, коктейль из коньяка с гренадином и, разумеется, Пнин-пунш – забористая смесь охлажденного Шато-икем, грейпфрутового сока и мараскина, которую важный хозяин дома уже принялся перемешивать в большой чаше сверкающего аквамаринового стекла с узором из завитых восходящих линий и листьев лилии.

– Ой, какая чудная вещь! – воскликнула Бетти.

Пнин оглядел чашу с радостным изумлением, как бы увидев ее впервые. Это подарок от Виктора, сказал он. Да, как он, как ему нравится в этой школе? Так себе нравится. Начало лета он провел с матерью в Калифорнии, потом два месяца проработал в гостинице в Йосемите. Где? В отеле в Калифорнийских горах. Ну, а после вернулся в школу и вдруг прислал вот это.

По какому-то ласковому совпадению чаша появилась в тот самый день, когда Пнин сосчитал кресла и замыслил сегодняшнее торжество. Она пришла упакованной в ящик, помещенный в другой ящик, помещенный внутрь третьего, и обернутой в массу бумаги и целлофана, разлетевшегося по кухне, как карнавальная буря. Чаша, возникшая из нее, была из тех подарков, которые поначалу порождают в сознании получателя красочный образ, – геральдический силуэт, с такой символической силой отражающий чарующую природу дарителя, что реальные свойства самого подарка как бы растворяются в чистом внутреннем свете, но внезапно и навсегда обретают сияющую существенность, едва их похвалит человек посторонний, которому истинное великолепие вещи неведомо.

7

Музыкальный звон пронизал маленький дом, явились Клементсы с бутылкой французского шампанского и букетом георгинов.

Джоан – темно-синие глаза, длинные ресницы, короткая стрижка – надела старое черное шелковое платье, более элегантное, чем все, до чего смогли бы додуматься иные преподавательские жены; приятно было смотреть, как добрый, старый и лысый Тим Пнин слегка наклоняется, чтобы коснуться губами легкой кисти Джоан, которую только одна она из всех вайнделлских дам умела поднять на высоту, потребную русскому джентльмену для поцелуя. Еще потолстевший против прежнего Лоренс в приятном костюме из серой фланели опустил в легкое кресло и немедленно сцапал первую попавшуюся книгу, ею оказался карманный англо-русский и русско-английский словарь. Держа очки в руке, Лоренс завел глаза и попытался извлечь из памяти нечто, что ему всегда хотелось проверить, но чего он никак не мог припомнить теперь, и эта поза подчеркивала поразительное, отчасти *en jeune*[62], сходство между ним и вышедшим из-под кисти Яна ван-Эйка каноником ван-дер-Пале с его ореолом восторженного пуха и квадратной челюстью, захваченным приступом рассеянной мечтательности в присутствии озадаченной Мадонны, к которой статист, переодетый Святым Георгием, пытается привлечь внимание доброго каноника. Тут было все – узловатый висок, печальный затуманенный взор, складки и рытвины мясистого лица, тонкие губы и даже бородавка на левой щеке.

Едва Клементсы уселись, как Бетти ввела человека, интересующегося булочками в форме птиц. Пнин уж было произнес "профессор Вин", как Джоан, – возможно, не очень кстати – прервала попытку их познакомить, воскликнув: "О-о, Томаса мы знаем! Кто же не знает Тома?". Тим Пнин отретировался на кухню, а Бетти пустила по кругу болгарские сигареты.

– А я-то думал, Томас, – заметил Клементс, перекрещивая толстые ноги, – что вы уже в Гаване, интервьюируете лезущих по пальмам рыбаков.

– Что ж, я и отправлюсь туда после зимней сессии, – сказал профессор

Томас. – Конечно, большая часть полевых исследований уже проведена другими.

– Все-таки приятно было получить эту субсидию, а?

– Работая в нашей области, – с полным самообладанием ответил Томас, – приходится предпринимать множество нелегких поездок. Собственно говоря, я могу махнуть и на Наветренные острова. Если, – прибавил он с гулким смехом, – сенатор Мак-Карти не отменит заграничных поездок.

– Он получил субсидию в десять тысяч долларов, – сказала Джоан Бетти, и та проделала физиогномический реверанс, соорудив особенную гримаску, состоящую из медленного полукивка с одновременным выпячиванием подбородка и нижней губы и автоматически выражающую уважительное, поздравительное и отчасти завистливое осознание Бетти такого замечательного события, каковы обед с начальником, помещение в "Who's Who" или знакомство с герцогиней.

Тейеры, приехавшие в новом фургончике, преподнесли хозяину изящную коробку конфет, а Гаген, пришедший пешком, торжественно держал на отлете бутылку водки.

– Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, – сердечно сказал Гаген.

– Доктор Гаген, – сказал Томас, пожимая ему руку, – надеюсь, Сенатор не видел, как вы разгуливаете с этой штукой.

Добрый доктор заметно постарел за последний год, но оставался таким же крепким и квадратным, как и всегда, – накладные плечи, квадратный подбородок, квадратные ноздри, львиное надпереносье и прямоугольная щетка седых волос, чем-то похожая на фигурно постриженный куст. На нем был черный костюм при нейлоновой белой сорочке и черном же галстуке, по которому летела красная молния. Миссис Гаген не позволила прийти ужасная мигрень, разыгравшаяся, увы, в самый последний миг.

Пнин внес коктейли: "Орнитолог сказал бы не 'петушьи', а 'фламинговые хвосты'", – лукаво сострил он.

– Спасибо! – пропела, снимая с подноса бокал и поднимая тонкие брови, миссис Тейер – на той веселой ноте благовоспитанного вопрошания, которая по замыслу сочетает в себе удивление с самоумалением и приятностью. Привлекательная, манерная, румяная дама лет сорока или около, с жемчужными искусственными зубами и позлащенными волнистыми локонами, она была провинциальной кузиной умной, непринужденной Джоан Клементс, объехавшей целый свет, побывавшей даже в Турции и в Египте и вышедшей за наиболее оригинального и наименее любимого в вайнделлском кампусе ученого. Тут следует также помянуть добрым словом и мужа Маргарет Тейер, – его звали Рой, – скорбного и молчаливого сотрудника Английского отделения, бывшего, если не считать его развеселого заведующего, Джека Кокерелла, гнездилищем ипохондриков. Внешне Рой представлял фигуру вполне заурядную. Нарисуйте пару ношенных коричневых мокасин, две бежевые заплатки на локтях, черную трубку, глаза под густыми

бровями, а под глазами мешочки, и все остальное заполнить будет нетрудно. Где-то посерединке висело невнятное заболевание печени, а на заднем плане помещалась поэзия восемнадцатого столетия, частное поле исследований Роя, – выбитый выгон с тощим ручьем и кучкой изрезанных инициалами деревьев; ряды колючей проволоки с двух сторон отделяли его от поля профессора Стоу – предшествующий век, где и ягнята были белее, и травка помягче, и ручеек побурливей, – а также от присвоенного профессором Шапиро начала девятнадцатого столетия с его мглистыми долинами, морскими туманами и привозным виноградом. Рой Тейер избегал разговоров о своем предмете, собственно, он избегал разговоров о всяком предмете, угробив десяток лет безрадостной жизни на исчерпывающий труд, посвященный забытой компании никому не нужных рифмоплетов; он вел подробный дневник, заполняя его шифрованными стихами, которые потомки, как он надеялся, когда-нибудь разберут, и смерив прошлое трезвым взглядом, объявят величайшим литературным достижением нашего времени, – и, насколько я в состоянии судить, вы, возможно, и правы, Рой Тейер.

После того, как все распробовали и похвалили коктейль, профессор Пнин присел на одышливый пуфик близ своего наинového друга и сказал:

– Я подготовил сообщение о полевом жаворонке, сударь, о котором вы сделали мне честь меня допросить. Возьмите это домой. Здесь отпечатанный на пишущей машинке сжатый отчет с библиографией. Я думаю, мы можем теперь переместиться в другую комнату, где нас, я думаю, ожидает ужин *a la fourchette*.

8

Гости с полными тарелками перетекли обратно в гостиную. Появился пунш.

– Господи, Тимофей, откуда у вас эта совершенно божественная чаша? воскликнула Джоан.

– Виктор подарил.

– Но где же он ее раздобыл?

– Полагаю, в антикварной лавке в Крэнтоне.

– Господи, она же должна стоить целое состояние.

– Один доллар? Десять? Или меньше?

– Десять долларов – чушь! Я бы сказала, две сотни. Да вы посмотрите на нее. Взгляните на этот витой узор. Знаете, вам надо показать ее Кокереллам. Они разбираются в старом стекле. На самом деле у них даже есть кувшин из Лейк-Данмор, но он выглядит бедным родичем вашей чаши.

Маргарет Тейер в свой черед восхитилась и сказала, что ребенком она представляла себе стеклянные башмачки Золушки точь в точь такими же, зеленовато-синими; в своем ответе профессор Пнин отметил, что, *primo*[63], он был бы рад услышать хоть от кого-то, что содержимое не уступает сосуду, и, *secundo*[64], что башмачки Сандрильоны были не из стекла, а из меха русской белки – *vair* по-французски. Это, сказал он, очевидный случай выживания наиболее приспособленного из слов, – *verre*[65] больше говорит воображению, нежели *vair*, каковое слово, как он полагает, произошло не от *varius* – разнообразный, пестрый, – но от "веверица", то есть от славянского названия определенной разновидности прекрасного, бледного, как у зимней белки меха, голубоватого, или лучше сказать "сизого", голубинового ("*columbine*") тона, – "от латинского "*columba*", голубь, как хорошо известно кое-кому из присутствующих, так что вы, миссис Файр, как видите, в общем-то правы".

– Содержимое превосходно, – произнес Лоренс Клементс.

– Очень вкусный напиток, – сказала Маргарет Тейер.

("А я всегда полагал, что "*columbine*" – это какой-то цветок", – сказал Томас Бетти, и та с готовностью согласилась.)

Поговорили об относительном возрасте кое-кого из детей. Виктору скоро будет пятнадцать. Эйлин, внучке старшей сестры миссис Тейер, пять лет. Изабель – двадцать три, ей очень нравится работа секретарши в Нью-Йорке. Дочери доктора Гагена двадцать четыре, она вот-вот воротится из Европы после чудесно проведенного лета, – она разъезжала по Баварии и Швейцарии с весьма любезной старой дамой – Дорианной Карен, известной в двадцатых кинозвездой.

Зазвонил телефон. Кто-то желал поговорить с миссис Шеппард. С точностью, совершенно ему в этих делах не свойственной, непредсказуемый Пнин не только отбарабанил ее новый адрес и телефон, но и добавил таковые же ее старшего сына.

9

К десяти часам Пнин-пунш и Бетти-скотч вынудили кое-кого из гостей разговаривать громче, чем они о себе полагали. Алое зарево разливалось с одной стороны по шее миссис Тейер под синей звездой ее левой серьги; сидя навтыжку, она потчевала хозяина рассказом о распре между двумя ее сослуживцами. Это была простенькая конторская история, однако тональные переходы от мисс Визг к мистеру Бассо и сознание того, как замечательно протекает вечер, заставляли Пнина пригибаться и восторженно гоготать, прикрываясь ладонью. Рой Тейер слабо помаргивал, глядя вдоль серого пористого носа в свой пунш и вежливо слушая Джоан Клементс, у которой, когда она бывала, как нынче, навеселе, появлялась соблазнительное обыкновение перемаргивать, а то и совсем закрывать синие в черных ресницах глаза и прерывать свои речи, – дабы выделить оговорку или собраться с мыслями, – глубокими придыханиями ("хо-о-о"): "Но не кажется ли вам

– хо-о-о – что то, что он пытается сделать – хо-о-о – практически во всех своих романах – хо-о-о – это – хо-о-о – выразить фантазмагорическую повторяемость определенных положений?". Бетти сохранила свое управляемое маленькое "я" и со знанием дела пеклась о закусках. В том конце комнаты, где помещалась ниша, Клементс угрюмо вращал неповоротливый глобус, а Гаген, старательно избегая традиционных интонаций, к которым он прибегнул бы в более свойской компании, рассказывал ему и ухмылявшемуся Томасу свежий анекдот о мадам Идельсон, слышанный миссис Гаген от миссис Блорендж. Подошел Пнин с тарелкой нуги.

– Это не вполне для ваших непорочных ушей, Тимофей, сказал Гаген Пнину, который всегда признавался, что не видит соли ни в одном из "скабрезных анекдотов", – однако...

Клементс перебрался поближе к дамам. Гаген начал рассказывать историю заново, Томас заново ухмыляться. Пнин ладонью брезгливо отмахнулся от рассказчика – "да ну вас" – и сказал:

– Я слышал этот же самый анекдот лет тридцать пять назад в Одессе и даже тогда не смог понять, что в нем смешного.

10

На еще более поздней стадии вечеринки вновь произошли некоторые перегруппировки. В углу кушетки скучающий Лоренс перелистывал альбом "Фламандские шедевры", подаренный Виктору матерью и забытый им у Пнина. Джоан сидела на скамейке у мужниных ног, поставив тарелку с виноградом на подол широкой юбки, и прикидывала, когда можно будет уйти, не обидев Тимофея. Прочие слушали рассуждения Гагена о современном образовании:

– Можете надо мной смеяться, – говорил он, бросая острый взгляд на Клементса, который покачал головой, отвергая вызов, и протянул альбом Джоан, показав ей в нем нечто такое, от чего она захихикала.

– Можете надо мной смеяться, но я утверждаю, что единственный способ выбраться из этой трясины, – самую капельку, Тимофей, спасибо, – это запереть студента в звуконепроницаемой камере и уничтожить лекционные залы.

– Да, конечно, – шепотом сказала мужу Джоан, возвращая альбом.

– Я рад, что вы со мной согласны, Джоан, – продолжал Гаген. – Однако, когда я попытался развить эти мысли, меня назвали "enfant terrible"[66] и, быть может, дослушав меня до конца, вы не так легко со мной согласитесь. В распоряжении изолированного студента будут фонографические записи по всевозможным предметам...

– Но личность лектора, – сказала Маргарет Тейер. – Она же что-нибудь да значит.

– Ничего! – выкрикнул Гаген. – В том-то и ужас! Кому, например, нужна его, – он указал на сияющего Пнина, – кому нужна его личность? Никому! Они, не дрогнув, откажутся от блестящей личности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей.

– Тимофея можно было бы показывать по телевизору, – сказал Клементс.

– О, я бы смотрела с восторгом, – сказала Джоан, улыбнувшись хозяину, а Бетти с силой закивала. Пнин низко им поклонился и развел руками – "обезоружен".

– А что думаете вы о моем спорном проекте? – спросил Гаген у Томаса.

– Я могу вам сказать, что думает Том, – произнес Клементс, продолжая разглядывать все ту же картинку в книге, раскрытой у него на коленях. – Том думает, что наилучший способ обучения чему бы то ни было состоит в том, чтобы устраивать обсуждения в классе, то есть позволять двадцати безмозглым юнцам и двум нахальным невротикам пятьдесят минут толковать о том, о чем понятия не имеют ни они, ни их преподаватель. Надо же, – продолжал он без всякого логического перехода, – три последних месяца ищу эту картину, а она – вот она. Издателю моей новой книги по философии жеста понадобился мой портрет, а мы с Джоан знаем, что видели нечто поразительно похожее у старых мастеров, но даже период вспомнить не можем. И вот, пожалуйста. Только и осталось, что добавить спортивную рубашку, да убрать руку этого вояки.

– Я вынужден решительно протестовать, – начал Томас.

Клементс передал раскрытый альбом Маргарет Тейер, и та раскатисто засмеялась.

– Я вынужден протестовать, Лоренс, – сказал Томас. – Свободное обсуждение с привлечением широких обобщений – это гораздо более реалистичный подход к образованию, чем старомодное чтение формальных лекций.

– Разумеется, разумеется, – сказал Клементс.

Джоан поднялась и накрыла узкой ладонью стакан, который собрался наполнить Пнин. Миссис Тейер посмотрела на часики, после – на мужа. Мягкий зевек растянул Лоренсов рот. Бетти спросила у Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, специалиста по летучим мышам, который живет в Санта-Кларе на Кубе. Гаген попросил стакан воды или пива. Кого он мне напоминает? – внезапно подумал Пнин. – Эрика Винда? Но почему? Внешне они совершенно различны.

Финальную сцену сыграли в прихожей. Гаген никак не мог отыскать трость, с которой пришел (она завалилась за баул в стенном шкафу).

— А я думаю, что оставила сумочку там, где сидела, — говорила миссис Тейер, легконько подталкивая задумчивого мужа к гостинной.

Пнин и Клементс напоследок разговорились, стоя по сторонам двери, словно чета раскормленных кариатид. Они втянули животы, пропуская безмолвного Тейера. Посреди комнаты стояли Томас и Бетти, — он, заложив руки за спину и время от времени привставая на носки, она с подносом в руках, — и беседовали о Кубе, где, по сведениям Бетти, какое-то время жил двоюродный брат ее нареченного. Тейер слонялся от кресла к креслу и вдруг обнаружил, что держит в руке белую сумку, так, впрочем, и не поняв, где он ее подцепил, — голова его была занята составлением строк, которые он запишет сегодня ночью:

"Мы сидели и пили, каждый с отдельным прошлым, скрытым внутри, с будильниками судьбы, поставленными на разобщенные сроки, — когда, наконец, изогнулось запястье, и взоры супругов сошлись..."

Между тем Пнин спросил у Джоан Клементс и Маргарет Тейер, не угодно ли им взглянуть, как он обставил верхние комнаты? Мысль пришлась им по вкусу. Он повел их наверх. Его так называемый kabinet теперь выглядел очень уютно, драный пол укрылся более или менее пакистанским ковром, который он когда-то купил для своей комнаты в колледже и который недавно вытянул, сохраняя решительное безмолвие, из-под ног изумленного Фальтернфельса. Шотландский плед, кутаясь в который Пнин пересек в 40 году океан, и несколько подушек местной выделки прикрыли недвижимую кровать. Розоватые полки, на которых он обнаружил поколения детских книг, начиная с "Чистильщика Тома, или Пути к успеху" Горацио Алджера младшего (1869), минуя "Рольфа в лесах" Эрнеста Томпсона Сэтона (1911) и кончая "Комптоновской энциклопедией в картинках", изданной в 1928 году в десяти томах с туманными маленькими фотографиями, — отягощались теперь тремястами шестьдесятю пятью единицами хранения библиотеки Вайнделлского колледжа.

— Как подумаешь, что все это я проштамповала, — вздохнула миссис Тейер, в шутовском ужасе закатывая глаза.

— Некоторые проштампованы миссис Миллер, — сказал Пнин, приверженец исторической истины.

В спальне посетителей сильнее всего поразили: складная ширма, защищавшая кровать о четырех столбах от пронырливых сквозняков, и вид из выстроившихся рядом окошечек — темная каменная стена, круто вздымающаяся в пятидесяти футах от зрителя, с полоской бледного звездного неба над черной порослью вершины. Через лужайку за домом по отпечатку окна прошел в темноту Лоренс.

— Наконец-то вам по-настоящему удобно, — сказала Джоан.

— И знаете, что я вам скажу, — ответил Пнин доверительно приглушая

голос, задрожавший от торжества. – Завтра утром я под занавесом тайны встречусь с джентльменом, который хочет помочь мне купить этот дом!

Они спустились вниз. Рой протянул жене сумку Бетти. Герман нашел свою трость. Стали разыскивать сумочку Маргарет. Вновь появился Лоренс.

– Гуд-бай, гуд-бай, профессор Вин! – пропел Пнин, щеки его румянил и круглил свет фонаря над крыльцом.

(Все еще не покинув прихожей, Бетти и Маргарет Тейер дивились на трость гордого доктора Гагена, недавно присланную ему из Германии, – на суковатую дубинку с ослиной головой вместо ручки. Голова могла шевелить одним ухом. Трость принадлежала баварскому деду доктора Гагена, деревенскому пастору. Согласно записи, оставленной пастором, механизм второго уха испортился в 1914 году. Гаген носил ее, как он сказал, для защиты от одной овчарки с Гринлаун-лэйн. Американские собаки не привычны к пешеходам. А он всегда предпочитает прогулку поездке. Починить ухо невозможно. По крайней мере в Вайнделле.)

– Хотел бы я знать, почему он меня так назвал, – сказал Т.В. Томас, профессор антропологии, Лоренсу и Джоан, когда они подходили сквозь синеватую тьму к четверке автомобилей, стоявших под ильмами на другой стороне дороги.

– У нашего друга, – ответил Клементс, – собственная номенклатура. Его словесные вычурности сообщают жизни волнующую новизну. Огрехи его произношения полны мифотворчества. Обмолвки – пророчеств. Мою жену он называет Джоном.

– Все же меня это как-то смущает, – сказал Том.

– Скорее всего, он принял вас за кого-то другого, – сказал Клементс. – И насколько я в состоянии судить, вы вполне можете оказаться кем-то другим.

Они еще не перешли улицу, как их нагнал доктор Гаген. Профессор Томас, храня озадаченный вид, уехал.

– Ну что же, – сказал Гаген.

Чудесная осенняя ночь – сталь на бархатной подушке.

Джоан спросила:

– Вы правда не хотите, чтобы мы вас подвезли?

– Тут ходьбы десять минут. А в такую прекрасную ночь прогулка – это обязанность.

Они постояли с минуту, глядя на звезды.

– И все это – миры, – произнес Гаген.

– Или же, – зевая, сказал Клементс, – жуткая неразбериха. Я подозреваю, что на самом деле – это флуоресцирующий труп, а мы у него внутри.

С освещенного крыльца донесся сочный смех Пнина, досказавшего Тейерам и Бетти Блисс историю о том, как он однажды тоже нашел чужой ридикюль.

– Ну пошли, мой флуоресцирующий труп, пора двигаться, сказала Джоан. – Приятно было увидаться с вами, Герман. Кланяйтесь от меня Ирмагд. Какая чудесная вечеринка. Я никогда не видела Тимофея таким счастливым.

– Да, спасибо, – рассеянно ответил Гаген.

– Видели бы вы его лицо, – сказала Джоан, – когда он сказал нам, что намерен завтра поговорить с агентом по недвижимости о покупке этого чудного дома.

– Что? Вы уверены, что он это сказал? – резко спросил Гаген.

– Вполне уверена, – сказала Джоан. – И если кто-то нуждается в доме, так это конечно Тимофей.

– Ну, доброй ночи, – сказал Гаген. – Рад был повидаться. Доброй ночи.

Он подождал, пока они заберутся в машину, поколебался и зашагал обратно к освещенному крыльцу, где Пнин, стоя как на сцене, во второй или в третий раз обменивался рукопожатиями с Тейерами и с Бетти.

("Я никогда, – сказала Джоан, сдавая машину назад и выкручивая руль, – то-есть никогда не позволила бы моей дочери отправиться за границу с этой старой лесбиянкой." – "Осторожней, – сказал Лоренс, – он, быть может, и пьян, но не так далеко от нас, чтобы тебя не услышать.")

– Ни за что вам не прощу, – говорила Бетти веселому хозяину, – что вы не позволили мне вымыть посуду.

– Я ему помогу, – сказал Гаген, поднимаясь по ступеням и стуча о них тростью. – А вам, детки, пора разбежаться.

И после финального круга рукопожатий Тейеры с Бетти удалились.

12

–Прежде всего, – сказал Гаген, входя с Пниным в гостиную, – я, пожалуй, выпью с вами последний бокал вина.

– Отменно! Отменно! – вскричал Пнин. – Давайте прикончим мой cruchon[67].

Они расположились поудобнее, и д-р Гаген заговорил:

– Вы – замечательный хозяин, Тимофей. А эта минута – одна из приятнейших. Мой дедушка говорил, что стакан доброго вина надо смаковать так, словно он – последний перед казнью. Интересно, что вы кладете в этот пунш. Интересно также, действительно ли вы намереваетесь, как утверждает наша очаровательная Джоан, купить этот дом?

– Не то, чтобы намереваюсь, – так, потихоньку присматриваюсь к этой возможности, – с булькающим смешком ответил Пнин.

– Я сомневаюсь в разумности этого шага, – продолжал Гаген, нянча в ладонях стакан.

– Естественно, я надеюсь в конце концов получить постоянный контракт, – с некоторым лукавством сказал Пнин. – Я уже девять лет, как внештатный профессор, или как это здесь называют "помощник профессора". Годы бегут. Скоро я буду заслуженный помощник в отставке. Гаген, почему вы молчите?

– Вы ставите меня в очень неловкое положение, Тимофей. Я надеялся, что вы не поднимете этого вопроса.

– Я не поднимаю вопроса, я лишь говорю, что надеюсь, ну, не на следующий год, так хотя бы к сотой годовщине отмены рабства Вайнделл мог бы принять меня в штат.

– Видите ли, мой дорогой друг, я должен сообщить вам прискорбную тайну. Это пока неофициально, так что вы должны обещать мне никому об этом не говорить.

– Клянусь, – подняв руку, сказал Пнин.

– Вы не можете не знать, – продолжал Гаген, – с какой любовной заботой я создавал наше замечательное отделение. Я тоже уже не молод. Вы говорите, Тимофей, что провели здесь девять лет. Я же двадцать девять лет всего себя отдавал этому университету! Все мои скромные способности. Мой друг, профессор Крафт, недавно так написал мне: "Вы, Герман Гаген, один сделали для Германии в Америке больше, чем все наши миссии сделали для Америки в Германии". И что же происходит теперь? Я вскормил этого Фальтернфельса, этого дракона, у себя на груди, и теперь он пролез на ключевые посты. От подробностей этой интриги я вас избавлю.

– Да, – сказал Пнин со вздохом, – интриги – это ужасно, ужасно. Но с другой стороны, честный труд всегда себя оправдывает. Мы с вами начнем в следующем году несколько чудных курсов, я уж давно их обдумываю. О Тирании, о Сапоге, о Николае Первом. Обо всех предтечах современных жестокостей. Гаген, когда мы говорим о несправедливости, мы забываем об армянской резне, о пытках, выдуманных в Тибете, о

колонистах в Африке... История человека – это история боли!

Гаген наклонился к другу и похлопал его по бугристому колену.

– Вы чудесный романтик, Тимофей, и при более счастливых обстоятельствах... Однако я должен сказать вам, что в ближайшем весеннем семестре мы собираемся учинить нечто и впрямь небывалое. Мы учредим Драматическую Программу – с представлением сцен из различных авторов, от Коцебу до Гауптмана. Я рассматриваю это как своего рода апофеоз... Но не будем отвлекаться. Я тоже романтик, Тимофей, и потому не могу работать с людьми вроде Бодо, как того желают наши попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне предложили заменить его, начиная со следующей осени.

– Поздравляю, – тепло сказал Пнин.

– Спасибо, мой друг. Это действительно хорошее и приметное положение. Там я смогу применить накопленный здесь бесценный опыт в более широких научных и административных масштабах. Конечно, поскольку я знаю, что Бодо не оставит вас на германском отделении, я первым делом предложил им взять со мной и вас, но мне было сказано, что славистов в Сиборде и так достаточно. Тогда я переговорил с Блоренджем, однако и французское отделение тоже заполнено. И это очень жаль, поскольку Вайнделл считает, что было бы слишком большим финансовым бременем платить вам за два или три русских курса, которые перестали привлекать студентов. Политические тенденции, возобладавшие в Америке, не поощряют, как мы знаем, интереса к вещам, связанным с Россией. С другой стороны, вам будет приятно узнать, что английское отделение пригласило одного из ваших наиболее блестящих соотечественников, действительно обворожительного лектора, я его слушал однажды; по-моему, это ваш старый друг.

Пнин прочистил горло и спросил:

– Это значит, что они меня увольняют?

– Ну, Тимофей, не относитесь к этому так трагично. Я уверен, что ваш старый друг

– Кто этот старый друг? – прищурившись, осведомился Пнин.

Гаген назвал имя обворожительного лектора.

Наклонившись вперед, опершись о колена локтями, сжимая и разжимая ладони, Пнин произнес:

– Да, я знаю его лет тридцать, а то и дольше. Мы с ним друзья, но одно я могу сказать совершенно определенно. Я никогда не буду работать под его началом.

– Не спешите, Тимофей, утро вечера мудренее. Может быть, удастся найти какой-то выход. Как бы там ни было, у нас имеется прекрасная возможность как следует все обсудить. Мы просто будем преподавать по-прежнему, вы и я, как будто ничего не случилось, nicht war?[68]

Мы должны быть мужественными, Тимофей!

– Значит, они меня выставили, – сказал Пнин, сжимая ладони и кивая головой.

– Да, мы с вами в одной лодке, в одной и той же лодке, произнес жизнерадостный Гаген и встал. Было уже очень поздно.

– Ну, я иду, – сказал Гаген, который был хоть и меньшим чем Пнин, приверженцем настоящего времени, но также отдавал ему должное. – Это был чудесный вечер, и я ни за что не позволил бы себе испортить вам праздник, не сообщи мне наш общий друг о ваших оптимистических планах. Доброй ночи. Да, кстати... Жалование за осенний семестр вы, разумеется, получите целиком, а там, глядишь, удастся чем-то разжиться для вас и в весеннем семестре, в особенности, если вы согласитесь снять с моих старых плеч кое-какую рутинную конторскую работу да примете живое участие в Драматической Программе в Новом Холле. Я думаю, вам даже стоит попробовать сыграть какую-нибудь роль – под руководством моей дочери, – это отвлечет вас от печальных мыслей. А теперь – сразу в постель и усypите себя добрым детективом.

На крыльце он подергал неотзывчивую руку Пнина с силой, достаточной для двоих. Затем взмахнул тростью и бодро сошел по ступеням.

Сетчатая дверь хлопнула за его спиной.

– Der arme Kerl[69], – пробормотал про себя добросердный Гаген, направляясь к дому. – По крайней мере, я подсластил пилюлю.

13

С буфета и из гостиной Пнин перенес в кухонную раковину грязную посуду и столовое серебро. Он поместил оставшуюся снeдь в холодильник, под яркий арктический свет. Ветчину и язык съели начисто, также и маленькие сосиски, но винегрет успеха не имел, сохранилось, кроме того, довольно икры и мясных пирожков, чтобы завтра можно было перекусить раз-другой. "Бум-бум-бум", – сказал буфет, когда он проходил мимо. Обозрев гостиную, он приступил к уборке. Последняя капля Пнин-пунша сверкала в прекрасной чаше. Джоан раздавила в тарелке вымазанный губной помадой сигаретный окуроч. Бетти следов не оставила и даже снесла все бокалы на кухню. Миссис Тейер забыла на тарелке, рядом с кусочком нуги, хорошенький буклет разноцветных спичек. Мистер Тейер скрутил с полдюжины бумажных салфеток, придав им самые прихотливые очертания. Гаген загасил растрепанную сигару о несъеденную кисть винограда.

Перейдя в кухню, Пнин изготочился мыть посуду. Он снял шелковую куртку, галстук и челюсти. Для защиты рубашки и смокингочвх брюк он надел субреточный пятнистый переднич. Он соскоблил с тарелоч в бумажный мешоч лакомые кусочки, чтобы после отдать их белой чесоточной собачонке с розовыми пятнами на спине, которая иногда заходила к нему под вечер, – ибо не существует причин, по которым

несчастье человека должно лишать радости собаку.

Он приготовил в мойке мыльную ванну для тарелок, бокалов и серебра и с бесконечной осторожностью опустил аквамариновую чашу в тепловатую пену. Оседая и набирая воду, звучный флинтглас запел приглушенно и мягко. Пнин ополоснул под краном янтарные бокалы и серебро и погрузил их туда же. Затем извлек ножи, вилки, ложки, промыл их и стал вытирать. Работал он очень медленно, с некоторой размытостью движений, которая в человеке менее обстоятельном могла бы показаться рассеянностью. Собрав протертые ложки в букетик, он поместил его в вымытый, но не вытертый кувшин, а затем стал доставать их оттуда и протирать одну за одной. В поисках забытого серебра он пошарил под пузырями, среди бокалов и под мелодичной чашей, и выудил щипцы для орехов. Привередливый Пнин обмыл их и принялся вытирать, как вдруг ногастая штука каким-то образом вывернулась из полотенца и рухнула вниз, точно человек, свалившийся с крыши. Пнин почти поймал щипцы, пальцы коснулись их на лету, но лишь протолкнули в укрывшую сокровище пену и за нырком оттуда донесся мучительный клекот бьющегося стекла.

Пнин швырнул полотенце в угол и, отвернувшись, с минуту простоял, глядя в темноту за порогом распахнутой задней двери. Зеленое насекомое, крохотное и беззвучное, кружило на кружевных крыльях в сиянии яркой голой лампы, висевшей над лоснистой лысой головой Пнина. Он выглядел очень старым – с приоткрытым беззубым ртом и пеленою слез, замутившей пустые, немигающие глаза. Наконец, застонав от мучительного предчувствия, он повернулся к раковине и, собравшись с силами, глубоко погрузил в воду руку. Осколок стекла укусил его в палец. Он осторожно вынул разбитый бокал. Прекрасная чаша была невредима. Взяв свежее кухонное полотенце, Пнин продолжил хозяйственные труды.

Когда все было вымыто и вытерто, и чаша, отчужденная и безмятежная, стояла на самой надежной полке буфета, и маленький яркий дом был накрепко заперт в огромной ночи, Пнин присел за кухонный стол и, достав из его ящика листок желтоватой макулатурной бумаги, расцепил автоматическое перо и принялся составлять черновик письма:

"Дорогой Гаген, – писал он ясным и твердым почерком, позвольте мне ремюзировать (зачеркнуто) резюмировать разговор, состоявшийся нынче ночью. Должен признаться, он отчасти меня поразил. Если я имел честь правильно вас понять, вы сказали..."

Глава седьмая

Первое мое воспоминание о Тимофее Пнине связано с кусочком угля, залетевшим мне в левый глаз в весеннее воскресенье 1911 года.

Стояло одно из тех резких, ветреных, сияющих петербургских утр, когда последние прозрачные куски ладожского льда уже унесены Невой в залив, и индиговые волны ее, вздымаясь, плещут в береговой гранит, и причаленные к стенке огромные буксиры и барки мерно трутся и скрипят, и медь и красное дерево заякоренных паровых яхт сияют под изменчивым солнцем. Я испытывал прекрасный новый английский велосипед, подаренный мне на двенадцатый день рождения, и пока я катил к нашему розоватого камня дому на Морской по гладкой, ровно паркет, деревянной панели, сознание того, что я серьезнейшим образом ослушался гувернера, терзало меня меньше, чем зернышко жгучей боли на крайнем севере моего глазного яблока. Домашние средства вроде прикладывания ватки, смоченной в холодном чае, или применения методы, называемой "три к носу", только ухудшили положение, и когда я назавтра проснулся, то, что засело под верхним веком, ощущалось как твердый многогранник, при каждом слезливом моргании погружавшийся на все большую глубину. В полдень меня свезли к лучшему окулисту, доктору Павлу Пнину.

Глупое происшествие из тех, что навсегда застревают в восприимчивом детском сознании, размечает пространство времени, проведенного мною и гувернером в заполненной солнечной пылью и плюшем приемной д-ра Пнина, где голубой мазок окна миниатюрно отражался в стеклянном колпаке золоченых бронзовых часов на камине, и пара мух описывала медленные четырехугольники вокруг безжизненной люстры. Дама в шляпе с плюмажем и ее муж в темных очках, храня супружеское безмолвие, сидели на диване; вошел кавалерийский офицер и присел с газетой к окну; затем муж удалился в кабинет д-ра Пнина; а затем я заметил странное выражение на лице моего гувернера.

Здоровым оком я проследил направление его взгляда. Офицер склонился к даме. По-французски он бегло корил ее за что-то, сделанное или не сделанное вчера. Она протянула ему для поцелуя руку в перчатке. Он приник к перчаточному глазку – и ушел, излеченный от своего недуга, в чем бы тот ни заключался.

Мягкостью черт, массивностью тела, тонкостью ног и обезьяньими очертаньями уха и верхней губы д-р Павел Пнин очень походил на Тимофея, каким тот стал через три-четыре десятка лет. Впрочем, у отца бахромы соломенных волос оживляла восковую плешь; он, подобно покойному доктору Чехову, носил пенсне в черной оправе на черном же шнурке; он говорил слегка заикаясь, голосом вовсе не похожим на будущий голос сына. И какое божественное облегчение испытал я, когда с помощью крохотного инструмента, похожего на барабанную палочку эльфа, ласковый доктор удалил у меня из глаза преступный черный атом! Интересно, где она теперь, эта соринка? Сводящий с ума, наводящий уныние факт, – где-то ведь она существует.

Возможно оттого, что посещая одноклассников, я видел и другие жилища людей среднего достатка, у меня безотчетно сложился образ квартиры Пнина, вернее всего, отвечающий истине. А потому могу сообщить

здесь, что она, возможно (а возможно и нет), состояла из двух порядков комнат, разделенных длинным коридором; по одной стороне – приемная, кабинет доктора, дальше, предположительно, столовая и гостиная; а по другой – две или три спальни, классная, ванная, комната прислуги и кухня. Я уже уходил с флаконом глазной примочки, а мой гувернер, пользуясь случаем, выпрашивал у д-ра Пнина может ли перенапряжение глаз вызывать расстройство желудка, когда отворилась и затворилась входная дверь. Д-р Пнин проворно вышел в переднюю, о чем-то спросил, получил тихий ответ и вернулся с сыном Тимофеем, гимназистом тринадцати лет, одетым в гимназическую форму: черная рубаша, черные штаны, глянцевого черного ремня (я учился в более либеральной школе, мы одевались там кто во что горазд).

Действительно ли я помню его ежик, припухлое бледное лицо, красные уши? Да, явственно. Я помню даже, как он неприметно вывернул плечо из-под гордой отцовской руки, когда гордый отцовский голос сказал: "Этот мальчик только что получил пять с плюсом на экзамене по алгебре". Из дальнего конца коридора несли сильный запах кулебяки с капустой, а за открытой дверью классной виднелась карта России на стене, книги на полке, чучело белки и игрушечный моноплан с полотняными крыльями и резиновым моторчиком. У меня был похожий, купленный в Биаррице, только в два раза крупнее. Если долго вертеть пропеллер, резинка начинала навиваться по-иному, занятно скручиваясь, что предвещало близость ее конца.

2

Через пять лет, проведя начало лета в нашем поместье под Петербургом, мама, младший брат и я приехали погостить к скучнейшей старой тетке в ее удивительно запущенную усадьбу, расположенную недалеко от знаменитого балтийского курорта. Как-то после полудня, когда я, испытывая сосредоточенный восторг, расправлял исподом вверх исключительно редкую аберрацию большой перламутровки, у которой серебристые полосы, украшающие изнанку задних крыльев, соединялись, придавая им ровный металлический отлив, вошел слуга с сообщением, что старая госпожа призывает меня к себе. Я нашел ее в гостиной за разговором с двумя сконфуженными молодыми людьми в студенческих тужурках. Один, покрытый светлым пушком, был Тимофеем Пниным, другой, с рыжеватой челкой, – Григорием Белочкиным. Они пришли испросить у моей двоюродной бабушки разрешения использовать стоящую на границе ее владений пустую ригу для постановки пьесы. Ставился русский перевод трехактной "Liebelei" Артура Шницлера. Справиться с этой затеей им помогал Анчаров, полупрофессиональный провинциальный актер, репутация которого зиждилась по-преимуществу на поблеклых газетных вырезках. Не приму ли и я участия? Однако в шестнадцать лет я был столь же заносчив, сколь и застенчив, – и отверг роль безымянного Господина в акте первом. Переговоры закончились общим замешательством, отнюдь не разряженным тем, что Пнин или Белочкин опрокинул стакан грушевого квасу, – и я вернулся к моим бабочкам. Две недели спустя меня каким-то образом уговорили посетить представление. Ригу заполняли дачники и раненные солдаты из ближнего лазарета. Я пришел вместе с братом, а с нами рядом сидел эконо-

бабушкина имения Роберт Карлович Горн, веселый толстяк из Риги с налитыми кровью фарфоровыми глазами, от всей души хлопавший в самых неподходящих местах. Помню запах украсившей ригу хвои, и глаза деревенских детей, поблескивавшие сквозь щели в стенах. Первые ряды стояли так близко к помосту, что когда обманутый муж выхватил пачку любовных писем, написанных его жене Фрицем Лобгеймером, студентом и драгуном, и швырнул их Фрицу в лицо, было с полной ясностью видно, что это – старые почтовые открытки с отрезанными марочными уголками. Я совершенно убежден, что небольшую роль этого гневного Господина сыграл Тимофей Пнин (хотя, разумеется, в дальнейших актах он мог появляться в иных ролях); впрочем, желтое пальто, пушистые усы и темный парик, посерединке разделенный пробором, так преображали его, что микроскопический интерес, возбуждавшийся во мне его существованием, вряд ли может служить порукой какой-либо сознательной уверенности с моей стороны. Фриц, молодой любовник, обреченный пасть на дуэли, не только завел за сценой загадочную интрижку с Дамой в Черном Бархате, женой Господина, он играл также сердцем Христины, наивной венской девушки. Роль Фрица исполнял плотный сорокалетний Анчаров в жгуче-коричневом гриме, он ударял себя в грудь с таким звуком, будто ковер выбивал, а его импровизированные усовершенствования роли, до заучивания которой он не снизошел, почти парализовали приятеля Фрица – Теодора Кайзера (Григорий Белочкин). Особа, бывшая в подлинной жизни состоятельной старой девицей, которую обхаживал Анчаров, весьма неумело изображала Христину Вейринг, дочь скрипача. Роль модисточки Мизи Шлягер, возлюбленной Теодора, очаровательно исполнила хорошенькая девушка с нежной шеей и бархатными глазами, сестра Белочкина, она и заслужила в тот вечер самые долгие рукоплескания.

3

Маловероятно, разумеется, чтобы в последовавшие за этим годы революции и гражданской войны я имел случай вспомнить д-ра Пнина с его сыном. Если я и восстанавливаю ранние впечатления в каких-то подробностях, то лишь для того, чтобы показать, какие мысли мелькнули в моем уме, когда в самом начале двадцатых, апрельским вечером, в парижском кафе, я пожимал руку русобородого, ясноглазого Тимофея Пнина, молодого, но сведущего автора нескольких превосходных статей по русской культуре. У эмигрантских писателей и художников имелось обыкновение собираться в "Трех фонтанах" после чтений или лекций, столь популярных тогда среди русских изгнанников; вот после одного из таких событий я, еще охрипший от чтения, попытался не только напомнить Пнину о прежних наших встречах, но также потешить его и окружающих чрезвычайной ясностью и силой моей памяти. Однако он отрицал все. Он сказал, что смутно помнит мою двоюродную бабушку, но что меня он отродясь не видел. Сказал, что по алгебре у него вечно были плохие отметки, и уж во всяком случае, отец никогда не показывал его пациентам; что в "Забаве" ("Liebelei") он играл одну только роль – отца Христины. Он повторил, что мы никогда прежде не встречались. Наши недолгие пререкания были ничем иным, как взаимным добродушным подтруниванием, все вокруг смеялись; впрочем я, заметив, как неохотно он признается в своем прошлом, перешел к иным, менее

личным предметам.

Постепенно моей основной слушательницей стала замечательно красивая девушка в черном шелковом свитере и с золотой лентой в каштановых волосах. Она стояла передо мной, уперев правый локоть в ладонь левой руки, держа сигарету, словно цыганка, между большим и указательным пальцами правой; сигарета дымила, и девушка щурила яркие голубые глаза. Это была Лиза Боголепова, студентка-медичка, писавшая к тому же стихи. Она спросила, нельзя ли ей прислать стихи мне на суд. Несколько позже я увидел ее сидящей рядом с отвратительно волосатым молодым композитором по имени Иван Нагой; они пили "на брудершафт", а за несколько стульев от них доктор Баракан, талантливый невропатолог и последний любовник Лизы, следил за ней с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах.

Через несколько дней она прислала стихи; вот достойный образчик ее творений, подобные ему сочинялись "под Ахматову" и иными эмигрантскими рифмессами – куцые жеманные вирши, передвигающиеся на цыпочках трех более-менее анапестовых стоп и грузно оседающие с последним задумчивым вздохом:

Самоцветов кроме очей

Нет у меня никаких,

Но есть роза еще нежней

Розовых губ моих.

И юноша тихий сказал:

"Ваше сердце всего нежней..."

И я опустила глаза...

Неполные рифмы вроде "сказал – глаза" считались тогда очень изысканными. Отметим кроме того эротический подтекст и намеки *coeur d'amour*[70]. Я ответил Лизе, написав, что стихи ее плохи и что сочинительство ей лучше оставить. Спустя еще какое-то время я встретил ее в другом сафй, сидящей в цветущем и пламени за длинным столом вместе с дюжиной молодых русских поэтов. С упорством загадочным и насмешливым она не сводила с меня своего сапфирового взора. Мы разговорились. Я попросил позволения еще раз взглянуть на ее стихи в каком-нибудь месте потише. Я его получил. Я сказал ей, что стихи поразили меня, оказавшись даже хуже, чем при первом прочтении. Она жила в самой дешевой из комнат декадентской гостинички, без ванны и с четкой щебечущих молодых англичан по соседству.

Бедная Лиза! Конечно, и ей выпадали артистические минуты, когда

майской ночью она останавливалась на убогой улочке, чтобы восхититься – о нет, вострепетать – пред красочными останками старой афиши на черной мокрой стене под светом уличной лампы или под льнущей к фонарю сквозистой зеленью лип, но все же она принадлежала к женщинам, сочетающим здоровую внешность с истерической неряшливостью, лирические порывы – с очень практичным и очень плоским умом, дурной нрав с сентиментальностью и вялую податливость со недюжинной способностью толкать людей на сумасбродные выходки. Побуждаемая некоторыми чувствами и определенным ходом событий, рассказ о коих навряд ли заинтересует читателя, Лиза проглотила пригоршню снотворных пилюль. Уже проваливаясь в беспамятство, она опрокинула открытую бутылку темнокрасных чернил, которыми записывала стихи, и эту яркую струйку, выползавшую из-под двери, заметили Крис и Лу – как раз вовремя, чтобы ее спасти.

После этих неприятностей мы не виделись недели две, но накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в скверике, расположенном в конце улицы, на которой я жил, стройная и чужая в новом платье, сизом, как Париж, и в действительно прелестной новой шляпке с крылом синей птицы. Она протянула мне сложенный листок. "Мне нужен от вас последний совет, сказала она голосом, который французы зовут "белым". – Вот полученное мною предложение о браке. Я буду ждать до полуночи. Если от вас не будет вестей, я его приму." И окликнув такси, уехала.

Письмо по случаю осталось в моих бумагах. Вот сей лист:

"Увы, боюсь, что только жалость родят мои признанья, Lise (автор, хоть он и пишет по-русски, всюду пользуется этой французской формой ее имени, чтобы, как я полагаю, избежать и фамильярного "Лиза", и формального "Елизавета Иннокентьевна"). Человеку чуткому всегда жалко видеть другого в неловком положении. А мое положение – определенно неловкое.

Вас, Lise, окружают поэты, ученые, художники, дэнди. Прославленный живописец, сделавший в прошлом году Ваш портрет, теперь, как слышно, спивается в дебрях Массачусетса. Каких только слухов не ходит. И вот, я осмеливаюсь писать к Вам.

Я не красив, не интересен, не талантлив. Я даже не богат. Но, Lise, я предлагаю Вам все, что у меня есть, до последней капельки крови, до последней слезы, все. И поверьте, это больше, чем может Вам предложить какой угодно гений, ведь гению приходится многое оставлять про запас и, стало быть, он не в состоянии предложить Вам всего себя, как я. Быть может, счастье не суждено мне, но я знаю, я сделаю все, чтобы Вы были счастливы. Я хочу, чтобы Вы писали стихи. Я хочу, чтобы Вы продолжали Ваши психотерапевтические опыты, – в которых я многого не понимаю, сомневаясь и в правильности того, что мне удастся понять. Кстати, в отдельном конверте я посылаю Вам изданную в Праге брошюру моего друга, профессора Шато, который с блеском опровергает теорию Вашего д-ра Халпа о том, что рождение представляет собою акт самоубийства со стороны младенца. Я позволил себе исправить очевидную опечатку на 48-й странице великолепной статьи Шато. Остаюсь в ожидании Вашего" (вероятно, "решения" – низ

листа вместе с подписью Лиза отрезала).

4

Когда через полдюжины лет я вновь оказался в Париже, мне сказали, что вскоре после моего отъезда Тимофей Пнин женился на Лизе Боголеповой. Она прислала мне вышедший в свет сборник ее стихов "Сухие губы", надписав темно-красными чернилами: "Незнакомцу от Незнакомки". Я встретился с ней и с Пниным в доме известного эмигранта, эсера, за вечерним чаем – на одном из тех непринужденных сборищ, где старомодные террористы, героические монахини, одаренные гедонисты, либералы, дерзновенные молодые поэты, пожилые писатели и художники, издатели и публицисты, вольнодумные философы и ученые являли род особого рыцарства, деятельное и значительное ядро сообщества изгнанников, треть столетия процветавшего, оставаясь практически неведомым американским интеллектуалам, у которых хитроумная коммунистическая пропаганда создавала об эмиграции туманное, целиком надуманное представление как о мутной и полностью вымышленной массе так называемых "троцкистов" (уж и не знаю, кто это), разорившихся реакционеров, чекистов (перебежавших или переодетых), титулованных дам, профессиональных священников, владельцев ресторанов, белогвардейских союзов, – массе, культурного значения не имеющей решительно никакого.

Воспользовавшись тем, что Пнин на другом конце стола погрузился в политические дебаты с Керенским, Лиза со всегдашней ее грубой прямоотой сообщила мне, что она "обо всем рассказала Тимофею", что он "святой", и что он меня "простил". По счастью, она не часто сопровождала его на поздние приемы, где я имел удовольствие сживать с ним бок о бок или насупротив в обществе близких друзей, на нашей маленькой одинокой планете, над черным и бриллиантовым городом, и свет лампы падал на чье-нибудь сократовское чело, и ломтик лимона кружился в стакане помешиваемого чая. Как-то ночью, когда доктор Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я заговорил с невропатологом о его двоюродной сестре Людмиле, ныне леди Д., мы встречались с ней в Ялте, Афинах и Лондоне, как вдруг Пнин через стол крикнул д-ру Баракану: "Да не верьте вы не одному его слову, Георгий Арамович. Он же все сочиняет. Он как-то выдумал, будто мы с ним в России учились в одном классе и сдували друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик." Баракана и меня до того изумил этот внезапный порыв, что мы так и остались сидеть, молча уставясь один на другого.

5

Когда вспоминаешь давних знакомых, поздние впечатления часто оказываются невнятные ранних. Я помню разговор с Лизой и ее новым мужем, д-ром Эриком Виндом, между двумя действиями русской пьесы, в Нью-Йорке, где-то в начале сороковых. Винд сказал, что испытывает "по-настоящему теплое чувство к герр профессор Пнин", и поделился со мной некоторыми причудливыми подробностями их совместного вояжа из

Европы в начале Второй Мировой Войны. В те годы я несколько раз сталкивался в Нью-Йорке и с Пниным – на различных общественных и научных торжествах, однако единственное живое воспоминание осталось у меня от нашей совместной поездки в вест-сайдском автобусе одним очень праздничным и сырым вечером 52 года. Мы приехали, каждый из своего университета, чтобы выступить в литературной и художественной программе перед большой аудиторией эмигрантов, собравшихся в Нью-Йорке по случаю сотой годовщины смерти одного великого писателя. Пнин преподавал в Вайнделле уже с середины сороковых, и я никогда не видел его более крепким, цветущим и уверенным в себе. Мы оба оказались, как он пошутил, "восьмидесятиниками", то есть оба остановились на ночь в восьмидесяти улицах Вест-Сайда; и пока мы висли на соседних ремнях переполненного и порывистого автобуса, мой добрый друг ухитрялся сочетать мощные нырки и повороты головы (в непрестанных попытках проверить и перепроверить номера пересекаемых улиц) с великолепным пересказом всего того, что он не смог за недостатком времени сказать на праздновании о разветвленных сравнениях у Гомера и Гоголя.

6

Решившись принять профессорство в Вайнделле, я оговорил возможность пригласить кого сочту необходимым для преподавания в особом русском отделении, которое я собирался учредить. Получив согласие, я написал Тимофею Пнину в самых сердечных выражениях, какие смог подобрать, предлагая ему помочь мне любым способом и в любой степени, для него удобных. Его ответ удивил и обидел меня. Он коротко написал, что покончил с преподаванием и не намерен даже дожидаться конца весеннего семестра, – после чего обратился к иным предметам. Виктор (о котором я из учтивости справился) живет с матерью в Риме; она развелась с третьим мужем и вышла за итальянского торговца картинами. Пнин закончил письмо сообщением, что к его величайшему сожалению ему придется покинуть Вайнделл за два-три дня до публичной лекции, которую мне предстояло прочесть во вторник пятнадцатого февраля. Места своего назначения он не назвал.

"Грейхаунд", который привез меня в Вайнделл в понедельник четырнадцатого, пришел туда уже затемно. Меня встретили Кокереллы и пригласили на поздний ужин к себе домой, и получилось, что я заночевал у них – вместо того, чтобы отоспаться в отеле, каково было первоначальное мое намерение. Гвен Кокерелл оказалась очень хорошенькой женщиной сильно за тридцать, с профилем котенка и с грациозными членами. Ее муж, с которым я однажды уже встречался в Нью-Хейвене и которого запомнил как довольно вялого, луноликого, невыразительного и белесого англичанина, приобрел с тех пор безошибочное сходство с человеком, которого он передразнивал почти уже десять лет. Я устал и не был особенно склонен развлекаться застольным спектаклем, однако должен признать, что Джек Кокерелл изображал Пнина в совершенстве. Его хватило чуть не на два часа, он показал мне все – Пнина на лекции, Пнина за едой, Пнина, строящего глазки студентке, Пнина, излагающего эпопею с электрическим вентилятором, который он неосмотрительно водрузил на стеклянную

полку над ванной, в которую тот едва не слетел, потрясенный собственными вибрациями; Пнина, пытающегося убедить профессора Уинна, орнитолога, едва с ним знакомого, что они – старые друзья, Том и Тим, и Уинна, приходящего к заключению, что он имеет дело с кем-то, изображающим профессора Пнина. Все это строилось, разумеется, на жестикуляции и диком английском Пнина, впрочем, Кокерелл ухитрялся передавать и такие тонкости, как различие между молчанием Пнина и молчанием Тейера, когда они сидят, погружившись в раздумья, в соседних креслах преподавательского клуба. Мы получили Пнина в книгохранилище и Пнина на озере в кампусе. Мы слышали, как Пнин порицает различные комнаты, которые он поочередно снимал. Мы выслушали рассказ Пнина о том, как он учился водить машину, а также о его действиях при первом проколе шины – на пути с "птицефермы какого-то Тайного Советника Царя", где, как полагал Кокерелл, Пнин проводил летние отпуска. Мы добрались, наконец, до сделанного Пниным заявления о том, что его "выстрелили" (shot), под чем, согласно имитатору, бедняга разумел "выставили" (fired), – я сомневаюсь, чтобы мой бедный друг мог впасть в такую ошибку. Блестящий Кокерелл поведал нам также о странной распре между Пниным и его соплеменником Комаровым – посредственным стенописцем, продолжавшим добавлять фресковые портреты преподавателей колледжа к тем, что уже были когда-то написаны на стенах университетской столовой великим Лангом. Хотя Комаров принадлежал к иному, нежели Пнин, политическому течению, художник-патриот усмотрел в удалении Пнина антирусский выпад и принялся соскребать хмурого Наполеона, стоявшего между молодым, полнотелым (ныне костлявым) Блоренджем и молодым, усатым (ныне бритым) Гагеном, намереваясь вписать туда Пнина; была показана и сцена во время ленча между Пниным и ректором Пуром: разгневанный, пузырящийся Пнин, утративший всякий контроль над тем английским, каким он владел, тыкал трясущимся пальцем в зачаточный очерк призрачного мужика на стене и вопил, что будет судиться с колледжем, если его лицо появится над этой косовороткой; здесь была и его аудитория – непроницаемый Пур, объятый тьмой своей слепоты, ожидающий, когда Пнин иссякнет, чтобы громко спросить: "А этот иностранный господин тоже у нас работает?". О, имитация была бесподобно смешной, и хоть Гвен Кокерелл, надо полагать, слышала программу множество раз, она хохотала так громко, что старый пес Собакевич, коричневый кокер с залитым слезами лицом, принялся ерзать и принюхиваться ко мне. Представление, повторяю, было блестящим, но чрезмерно затянутым. К полуночи веселье выдохлось; улыбка, которую я держал на плаву, приобретала, чувствовал я, признаки губной спазмы. В конце концов, все выродилось в такую скуку, что я уже начал гадать, не стало ль для Кокерелла его занятие Пниным – в силу некоего поэтического возмездия – своего рода роковым помешательством, замещающим исходное посмешище собственной жертвой.

Мы выпили порядочное количество виски, и где-то после полуночи Кокерелл принял одно из тех внезапных решений, которые – в определенном градусе опьянения – кажутся столь осмысленными и смешными. Он объявил о своей уверенности в том, что старая лиса Пнин куда вчера не уехал, а забился поглубже в нору. Так отчего бы не позвонить и не проверить? Он и позвонил, и хоть ответа на вереницу настойчивых нот, изображающих действительный звон в воображаемой далекой прихожей, не последовало, представлялось разумным, что этот

совершенно нормальный телефон, уж верно, отключили бы, если бы Пнин и вправду освободил дом. Я по-дурацки рвался сказать что-то дружеское моему доброму Тимофее Палычу, так что, спустя несколько времени, тоже попробовал дозвониться. Внезапно раздался щелчок, открылась звуковая перспектива, отзвук тяжелого дыхания, и неумело искаженный голос сказал: "He is not at home, he has gone, he has quite gone" ("Его нет дома, он ушел, он совсем ушел"), – и трубку повесили; однако, это не спасло моего старого друга, ибо и лучший его подражатель не смог бы столь подчеркнуто срифмовать "at" с немецким "hat", "home" с французским "homme" и "gone" с началом "Гонерильи". Кокерелл предложил подъехать к дому 999 по Тодд-роуд и спеть окопавшемуся там Пнину серенаду, но тут уж вмешалась миссис Кокерелл, и после вечера, почему-то оставившего в моей душе подобие дрянного привкуса во рту, мы отправились спать.

7

Я провел дурную ночь в прелестной, проветренной, приятно обставленной спальне, где ни окно, ни дверь толком не закрывались, а полное собрание сочинений о Шерлоке Холмсе, которое годами гоняется за мной, подпирало лампу у изголовья, до того слабую и изнуренную, что даже гранки, взятые мной для просмотра, не смогли подсластить бессонницу. Громыканье грузовиков сотрясало дом каждые две минуты; я задремывал и подскакивал, задыхаясь, и какой-то свет, проникавший с улицы сквозь пародийную штору, добирался до зеркала и ослеплял меня мыслью, что я стою перед расстрельной командой.

Я устроен таким образом, что, прежде чем я смогу противостоять невзгодам дня, мне совершенно необходимо проглотить сок трех апельсинов. Поэтому в половине восьмого я наскоро принял душ и через пять минут вышел из дома в обществе длинноухого и подавленного Собакевича.

Воздух был резким, небо – ясным и оттертым до блеска. Далеко на юг видна была пустая дорога, взбегающая между снежных заплат на сизый холм. Высокий безлистный тополь, бурый, словно метла, поднимался от меня по правую руку, долгая утренняя его тень тянулась на противную сторону улицы и падала там на зубчатый кремовый дом, который, по уверениям Кокерелла, мой предшественник, увидев входящих туда людей в фесках, счел за турецкое консульство. Я свернул налево, на север, и прошел пару кварталов вниз по холму – к ресторану, примеченному мною накануне; однако заведение еще не открылось, и я повернул назад. Едва я сделал пару шагов, как груженный пивом большой грузовик, загрохотал вверх по улице; сразу за ним тянулся бледно-синий "Седан", из которого выглядывала белая собачья головенка; следом катил второй грузовик, точь в точь такой, как первый. Смирный "Седан" был забит узлами и сумками; и Пнин сидел за рулем. Я испустил приветственный рев, но он не заметил меня, и я надеялся только, что сумею взбежать по холму достаточно быстро и настигну его, когда в квартале отсюда красный свет преградит ему путь.

Я успел обежать задний грузовик и еще раз увидеть напряженный

профиль моего старого друга, одетого в шапку с ушами и теплый с меховым воротом плащ; но в следующий миг свет позеленел, белая собачонка, высунувшись, облаяла Собакевича, и все устремилось вперед – первый грузовик, Пнин, второй грузовик. Оттуда, где я стоял, я следил, как они уменьшаются в рамке дороги, между мавританским домом и итальянским тополем. Крошка–"Седан" храбро обогнул передний грузовик и, наконец–то свободный, рванул по сияющей дороге, сужавшейся в едва различимую золотистую нить в мягком тумане, где холм за холмом творят прекрасную даль, и где просто трудно сказать, какое чудо еще может случиться.

Кокерелл, в коричневом халате и сандалиях, впустил кокера и повел меня в кухню, к английскому завтраку из унылых почек и рыбы.

– А теперь, – сказал он, – я расскажу вам о том, как Пнин, взойдя в Кремоне на сцену Дамского клуба, обнаружил, что привез не ту лекцию.

1

Пристяжной воротничок (фр.)

2

Рассеянный профессор (нем.)

3

"дальнейшее – молчанье", "никогда больше", "конец недели, выходные дни", "кто есть кто" (англ.)

4

"есть", "улица", самопишущее перо", "гангстер", "Чарльстон", "маргинальное употребление" (англ.)

5

"пустое мечтание", "ладно!" (англ.)

6

"Короче говоря" (англ.)

7

Квитанция (англ.)

8

"Новый словарь Уэбстера для учащихся" (англ.)

9

С шумом взлетать (англ.)

10

Жизнеописание (лат.)

11

Душ (фр.)

12

Неведомая земля (лат.)

13

Анекдот (букв. малая история) (фр.)

14

"Мальчик играет со своей няней и своим дядей" (англ.)

15

"Меблированное пространство" (фр.)

16

Живые картины (фр.)

17

Рубрика, "колонка" (фр.)

18

Щупать (фр.)

19

Дорогой господин Пнин (фр.)

20

Драже (фр.)

21

Если вы так, то я так, и конь летит (нем.)

22

Виноват! (нем.)

23

Господин Пнин (нем.)

24

Оставьте меня, оставьте (нем.)

25

Ах, нет, нет, нет (нем.)

26

Чертог (итал.)

27

Такова жизнь (фр.)

28

У меня ничего нет ... У меня ничего не осталось, ничего, ничего!
(искаж. англ.)

29

"шляпа" ("Я никогда не ношу шляпы, даже зимой") (искаж. англ.)

30

Нет (англ.)

31

"Подвезти вас, м-р Пнин" "Нет-нет-нет, мне тут всего два шага" (англ.)

32

"Во вторник после полудня у меня не бывает занятий. Сегодня вторник" (англ.)

33

И где судьба пошлет мне ... смерть (англ.)

34

в бою, в странствиях в волнах? Или соседний дол (англ.)

35

долина примет мой охлажденный прах (англ.)

36

пыль, прах (фр.), холодная пыль (англ.)

37

И хотя нечувствительному телу безразлично (англ.)

38

Закуски (фр.)

39

"питие водки" (англ.)

40

Не интересуюсь (англ.)

41

Роскошный (фр.)

42

"Руки прочь от Кореи" (искаж. фр.), "Мир победит войну" (искаж. исп.), "Мир победит войну" (нем., с ошибкой в слове Krieg)

43

Одинокий король (лат.)

44

Некогда авангардный (фр.)

45

Ввысь (лат.)

46

Коляска (фр.)

47

Леонардо! Странные хворобы
поражают морену, смешанную со свинцом:
монашески бледны губы Моны Лизы,
которые ты сделал столь красными (англ.)

48

Недоразумение, путаница (лат.)

49

Промах (англ.)

50

Добыча (англ.)

51

Семья (англ.)

52

Вы понимаете французский? Хорошо? Достаточно хорошо? Немного? (фр.)

53

Совсем немного (фр.)

54

Колыбельная (фр.)

55

Перевод Норы Галь

56

Точное слово (фр.)

57

"Новая Европа" (лат.)

58

Так! (лат.)

59

После полудня (лат.)

60

Вечеринка (фр.)

61

Ржаной хлеб из грубой муки (нем.)

62

Молодецкое (фр.)

63

Во-первых (лат.)

64

Во-вторых (лат.)

65

Стекло (фр.)

66

Букв. "ужасное дитя" возмутитель спокойствия (фр.)

67

Крюшон (фр.)

68

Не так ли? (нем.)

69

Бедняга (нем.)

70

Любовные (фр.), букв. "суд любви"